

Щедровицкий Георгий Петрович: другие произведения.

"Я всегда был идеалистом" (Беседы с Колей Щукиным)

Журнал "Самиздат"

Аннотация:

В "Беседах с Колей Щукиным" дается панорамное изображение жизни в Москве в 30-70 годы двадцатого века, данное великим мастером языка. С искренностью на грани откровенности. "Занятия нам мало что давали, так как их общий уровень был невысок. Зато мы весело проводили время: мы играли в "балду", "дурака", рассказывали разные истории из богемной и околобогемной жизни Москвы, и поэтому нас всех посылали бурить - была такая форма наказания. Снимали с занятий студентов-подготовишек и отправляли их на буровую площадку, расположенную на территории (там постоянно шли какие-то буровые работы).

Г.П.Щедровицкий.

Я всегда был идеалистом...

12 ноября 1980 г. 1

15 ноября 1980 г. 67

16 ноября 1980 г. 99

24 ноября 1980 г. 130

21 декабря 1980 г. 163

8 января 1981 г. 202

29 августа 1981 г. 232

12 ноября 1980 г.

Когда Вы, Коля, попросили меня рассказать о наиболее запомнившихся мне эпизодах из жизни психологов и вообще что-нибудь про психологию, а я несколько неосторожно согласился, то я и не мог предполагать, что дело это будет для меня столь сложным и проблематичным.

Дело в том, что история науки, философии имеет два сложных и не очень-то связанных между собой

пласта. С одной стороны, это жизнь идей, которая, конечно же, разворачивается через людей - в обсуждениях, в книгах, которые ими написаны, в исследованиях, в борьбе, которую можно наблюдать на всех научных совещаниях и вокруг них, а с другой - это жизнь людей, их коммунальные отношения, их поведение, их действия, ориентации, цели, корысть. И, по моему глубокому убеждению, эти два плана, или два пласта, как-то очень сложно связаны друг с другом. Поэтому, когда я начал думать, а что я собственно должен, могу Вам рассказать по теме "История психологов и история психологии", то вдруг, неожиданно для себя, обнаружил, что я должен либо обсуждать историю развития идей, в частности в той области, где я работал, т.е. на стыке философии, методологии, с одной стороны, и психологии - с другой, - но тогда не нужны воспоминания, тогда это должно быть результатом какого-то специального исторического анализа, специальной исторической реконструкции, - либо же нужно отставить в сторону этот план развития идей, точнее, жизни людей в идеях и через них, но тогда остаются какие-то анекдотические истории, какая-то ерунда, которую в общем-то и неловко как-то рассказывать.

И чем больше я размышлял на эту тему, тем более странным казалось положение, в которое я попал, поскольку для меня, как и для всякого человека, тут очень значимы мои симпатии, антипатии, ненависть, любовь к каким-то людям. Вроде бы и неловко, и совестно рассказывать про ненависть свою или про анекдотические стороны жизни других людей. Но ведь если отставить в сторону жизнь идей и их драматическую борьбу, то что же еще остается рассказывать?! И это, должен я признаться, привело меня в некоторое замешательство, заставило взглянуть на прожитые годы уже под новым углом зрения и задать себе вопрос: как же так получается? И что, собственно, оставляет в нас такие эмоции, а что, наоборот, принадлежит сугубо сфере разума, другому миру, миру развития идей?

И, отвечая себе на этот вопрос, я пришел в каком-то смысле к очень печальному выводу: мне в общем-то не повезло на встречи с подлинными людьми науки. Подлинных людей науки, чья личная жизнь сливается в принципе с жизнью науки, с исследовательской деятельностью, - таких людей в моей жизни было всего несколько: если пять, то это хорошо. Я сейчас говорю о людях старшего поколения, о тех, у кого мы все учились.

К числу таких людей я отношу Петра Алексеевича Шеварева: он безусловно оказал на меня очень большое влияние в чисто личностном, человеческом плане. Я отнес бы к таким людям и Николая Федоровича Добрынина. По моему внутреннему ощущению, к ним относился и Сергей Леонидович Рубинштейн, с которым я встречался лишь несколько раз. Ну вот, наверное, и все. Во всяком случае - из мира психологии. А все остальные жили в общем-то не жизнью науки; она, конечно, существовала для них, но была второстепенной. Я уже сказал, что, по-видимому, только настоящие, подлинные ученые живут так, что каждое их действие, каждый поступок, каждая мысль действительно погружены в мир идей. А остальные живут вокруг науки - по законам социальных отношений, социальных взаимодействий, по законам политики, и, собственно говоря, именно это я и наблюдал постоянно.

Вот что запоминалось и удивляло, точнее, заставляло все время удивляться тому, что происходит. Вся та жизнь, с которой я сталкивался в психологии, около психологии, поворачивалась какими-то странными анекдотическими сторонами, и эти анекдотические стороны действительно запоминались и были значимыми, а вот жизни идей, их воплощения через людей я просто не наблюдал или наблюдал предельно редко.

Тут возникает очень много сложных проблем, требующих какого-то специального обдумывания в житейском плане, с одной стороны, и в научном - с другой. И я сейчас в принципе не готов обсуждать это по-настоящему и всерьез, но понимаю одно: конечно, занятия наукой есть жизненная борьба, а поэтому занятие наукой немыслимо без участия в политике, и ученый вынужден жить политической жизнью. Если он устраняется от нее, то, во-первых, он становится нежизнеспособным, а во-вторых, я в этом глубоко убежден, его собственно научные размышления, круг его идей становятся также нежизненными. Поэтому все, о чем я выше сказал, ни в коем случае не следует понимать так, что я отрицаю значение социально-политической жизни и вообще участия в борьбе - уже не идей, а в собственно человеческой борьбе, в столкновении групп. Отнюдь. Но, стремясь осмыслить свой собственный опыт, я понял одну важную вещь: люди, подчинившие свою жизнь политическим ценностям и целям, перестают заниматься наукой.

Настоящий ученый тоже не может выйти из политических отношений. Причем я все время имею в виду не какую-то высокую идеологию, высокую политику - международную или, скажем, классовую, а политику внутри малых человеческих коллективов. Ученый не может выйти из них и остаться ученым, но рок его, крест, который он должен вроде бы нести, состоит в том, чтобы, живя в этих социальных, политических отношениях, всегда подчинять их целям и задачам развития научного знания.

Большой ученый никогда не жертвует научной истиной (не надо бояться этих громких слов) ради каких-то там конкретных ситуаций. Наоборот, проходя через них, он все время думает об одном: как в сложившихся ситуациях сохранить и прояснить эту самую научную истину.

И вот таких людей, повторяю еще раз, я встретил в мире психологии очень мало, невероятно мало.

Все остальные подчинили научный поиск, научное исследование коммунальным, социальным, политическим ситуациям и, практически, в очень многих и многих случаях только делали вид, что их интересуют научные идеи, научные истины, а на самом деле занимались мелкой политикой, политиканством. И многие настолько входили в эту роль, что начинали получать удовольствие от самой имитации науки, связав ее с политической жизнью, с ее ситуационными, чисто конъюнктурными изменениями. Поэтому-то мне в глаза бросался чисто комический, крайне гротескный, пародийный даже (наверное, так точнее) характер их действий, поступков, суждений, оценок.

И вот так вглядываясь ретроспективно в открывающуюся панораму, я - еще раз повторяю - с некоторым удивлением для себя вдруг увидел, что в памяти моей сохраняются, вызывают определенное эмоциональное отношение лишь эти анекдотические эпизоды, или стороны, которые для меня и есть характеристика смысла многого из того, что происходило, если - еще раз говорю - отвлечься от мира идей.

Но, может быть, это и характеристика меня самого, может быть, вот так вот, через такую призму я вижу, так у меня получается...

Расскажу о некоторых эпизодах, которые кажутся мне значимыми и сыграли определенную, как правило, важную, роль в формировании моего отношения к науке и жизни.

Я не буду сейчас рассказывать об обстановке на философском факультете Московского

университета в 1949 году, когда я туда впервые попал. Это тема для особого разговора, и, может быть, для нее еще не наступило время. Поэтому в моем рассказе будет определенный пробел - в смысле фона, панорамы, но Вам придется с этим мириться.

Я вспоминаю здесь свое первое знакомство с Алексеем Николаевичем Леонтьевым, которое произошло где-то в 1950 или в 1951 году. Он читал нам, нашему курсу, цикл лекций по психологии. Я выдержал первые две лекции и больше уже не ходил. Темой его первых лекций была "Природа психики". И он начал рассказывать про сеченовскую схему рефлекса, про те вариации, которые внес в эти представления Асратян. По его мысли, психика - это третья, интериоризованная выходная реакция, т.е. эффекторная часть рефлекса, которая сокращена, усечена. И вот в течение двух часов он с большим пафосом, с постоянной присказкой "Не правда ли?" топтался на этой жалкой, тощей идее, и при этом сама идея казалась мне высосанной из пальца, совершенно надуманной, не имеющей отношения ни к психическим процессам, ни к психологии человека, ни к теоретическим схемам, сугубо конъюнктурной.

Дело в том, что прошла павловская сессия, было решено базировать психологию на физиологических основаниях, но - и это я уже хорошо знал - происшедшее не было чем-то внешним для Алексея Николаевича. Потому что если бы это была просто обязаловка, то... ну сказал пару слов, как полагается, и перешел к делу. Нет, он вошел в роль и, так сказать, имитировал перед нами псевдонаучные движения, рассуждения, движение мысли... Потом я узнал, что все это он написал еще до войны.

- Так это, значит, его точка зрения?

Понимаете, на мой взгляд, у Алексея Николаевича вообще не было его точек зрения. Дело в том, что он принял на себя определенную роль и играл, наслаждаясь исполнением роли. Он не проговаривал то, что требуется, - сказал, отметил и пошел дальше, - нет, он действительно входил в роль и ее разыгрывал. Конечно, многое надо было разыгрывать в те годы (да и сейчас, наверное, тоже, впрочем, как и всегда), но он это делал не как человек, которого обязали, он делал это от души. И поэтому в моем сознании того времени он запечатлелся как человек конъюнктурный, с одной стороны, и как актер и имитатор - с другой, а предмет его имитации показался мне совершенно ерундовым. Я для контроля посидел еще одну лекцию, а когда увидел, что все идет в том же духе, ушел и, пользуясь своим положением (я был председателем спорткомитета факультета и отцом семейства), больше на лекции по психологии не ходил.

Вторая моя встреча с Алексеем Николаевичем Леонтьевым произошла в январе 1954 года на заседании Ученого совета философского факультета: защищал кандидатскую диссертацию \*.\*. Темой работы было формирование или развитие понятий. И одну свою главу он целиком списал с моей дипломной работы - просто один к одному, без ссылок. Это не значит, что так было принято в то время на философском факультете, - просто \*.\* был таким человеком. Он много пишет сейчас о нравственности, морали, высоком звании ученого - как на историко-научном материале, так и на нынешнем.

Александр Зиновьев предупредил \*.\* , что если не будет ссылок, то он на защите выступит и скажет, что это плагиат. В конце концов, в диссертации тушью внизу было в нескольких местах приписано, что использованы материалы моей дипломной работы. И чтобы окончательно оградить себя от

обвинений в плагиате \*.\* попросил меня выступить. Я тогда согласился и поддержал его. У меня до сих пор хранятся текст моего выступления и более поздняя запись по поводу подобных ситуаций вообще. Я впервые написал тогда себе, или для себя, что, во-первых, нельзя быть добреньким, а во-вторых, нельзя никогда, исходя из конъюнктурных соображений и ситуаций, нарушать некоторые общечеловеческие, краеугольные нормы и принципы. И если ты не уважаешь человека, то никогда не следует говорить, что он сделал хорошую работу, какими бы другими соображениями ты ни руководствовался. Это вовсе не значит, что я всегда неуклонно следовал этому принципу. Я просто сейчас говорю о тех размышлениях, которые сопутствовали каким-то действиям, поступкам.

Короче говоря, на защите я выступил, рассказывал о схемах образования понятий, таких понятий, как "масса", "скорость" и другие, и вдруг после моего выступления встал Алексей Николаевич и сказал, что у них на кафедре психологии ведутся аналогичные исследования, получены очень похожие результаты и что этим занимаются Василий Давыдов, Неля Непомнящая и другие.

Сам по себе рассказ Алексея Николаевича не вызвал у меня никакого энтузиазма в содержательном плане, но стал своего рода неожиданностью. Потому что хотя и Василий Давыдов, и Неля Непомнящая были моими однокурсниками (а Давыдова я знал, поскольку он был членом бюро комитета комсомола нашего курса и у меня с ним были в предшествующие годы обучения официальные контакты), но тем не менее я не знал, чем они занимаются, поскольку психологическая группа и психологическое отделение были как-то на отшибе от основного философского отделения.

Рассказ Алексея Николаевича о том, что Давыдов, Непомнящая и другие занимаются сходной проблематикой, заставил меня ближе познакомиться с Давыдовым, и в феврале или марте мы с ним встретились и начали обсуждать проблемы образования понятий, что, собственно, и стало начальной точкой, с одной стороны, всего моего дальнейшего интереса к психологическим исследованиям в этой области, а с другой - той связи психологических и логических исследований сферы мышления, которая нами потом создавалась, крепилась и существует до сегодняшнего дня. <...>

А вот здесь мне придется чуть уйти в сторону и коснуться общей атмосферы, царившей в то время на философском факультете, и рассказать о людях, которые тогда задавали и определяли эту атмосферу и вообще весь внешний облик жизни факультета, во всяком случае, в области духовных исканий.

На самом философском факультете к этому времени уже сложились и существовали две четко сознававшие себя группы. Это группа Эвальда Ильенкова, группа, в общем-то неогегельянского толка, ее работы зиждились на принципе тождества бытия и мышления, и этим определялось все, и группа Александра Зиновьева, которая отрицала принцип тождества бытия и мышления и исходила из достаточно жесткого и четкого противопоставления, с одной стороны, мира бытия, а с другой - мира мышления.

Детальное философское, методологическое обсуждение различия двух этих направлений требует совсем другого контекста; это различие действительно очень серьезно и своими корнями уходит в довольно далекую традицию развития самой философии, ну, скажем, к младогегельянкам. Это, как я теперь понимаю, было своего рода воспроизведение на почве философского факультета МГУ той коллизии, которая разворачивалась в немецкой философии на стыке фейербаховского и постфейербаховского гегельянства, т.е. в период формирования марксизма.

Вообще-то, это смешно с какой-то стороны, но сама подобная ситуация искусственно воссоздавалась и поддерживалась многими профессорами философского факультета. В частности, классической для того времени была работа Теодора Ильича Ойзермана о формировании марксизма, о раннем марксизме и дальнейшем движении, и она в каком-то смысле задавала рамку и фон того, что развертывалось в тот момент на философском факультете. В этом плане я бы сказал (это моя субъективная точка зрения), что Эвальд Ильенков воспроизводил гегельянский марксизм, тогда как Александр Зиновьев воспроизводил, практически сам того не зная, не понимая, результаты всей неокантианской традиции, своего рода влияние на марксистские представления методологического неокантианства. Вот так бы я сейчас оценил происходившее тогда.

Там, конечно, было много наивного, но были какие-то глубокие парадоксальные моменты в самой ситуации, и она имела свой внутренний смысл для развития. Поэтому сложившаяся оппозиция была фактически очень жизненной. И все, кто так или иначе искали смысл в философии и пытались развивать философию, формировать содержание философского анализа, примыкали к одной из этих двух групп: либо к группе Ильенкова, либо к группе Зиновьева.

Но при этом обе группы жили единой, очень тесной жизнью, т.е. это не была жизнь двух коллективов, сформированных в оппозиции друг к другу. Это был один коллектив людей, которые внутренне, скорее по своим ориентациям, примыкали к одной группе или к другой, или, точнее, были ориентированы одни туда, другие сюда, и обсуждали они на самом деле одну и ту же проблематику - Марксов "Капитал" и метод восхождения от абстрактного к конкретному. Поэтому и кандидатская диссертация Эвальда Васильевича Ильенкова, и кандидатская диссертация Александра Александровича Зиновьева были посвящены методу восхождения от абстрактного к конкретному и диалектике абстрактного и конкретного. Здесь, собственно, и развертывались дискуссии.

Василий Васильевич Давыдов принадлежал к числу ближайших друзей Ильенкова и таким образом попадал в мир философии, философского развития; его занятия психологией были для него тогда скорее факультативными. И для меня психология точно так же была чем-то лежащим на периферии. Поэтому наши дальнейшие контакты с Давыдовым шли скорее по философской, нежели по психологической, линии.

Мы часто фланировали по улице Горького и по прилегающим к Пушкинской площади бульварам. Это всегда была компания в пять, шесть или восемь человек (например: Карл Кантор, Борис Шрагин, Александр Субботин, Борис Грушин, Эвальд Ильенков, Александр Зиновьев, Василий Давыдов, я - вот одна из таких комбинаций), которая могла, скажем, собраться в два часа дня и до вечера двигаться по московским улицам, где-то оседать: либо в пивном баре номер один на улице Горького, либо в пивном баре в Столешниковом переулке, или доходить до Кировской, или идти еще куда-то. И вот именно здесь, в этом постоянном движении, оттачивались оппозиции, мысли.

Мы приходили часто домой к Эвальду Ильенкову (он жил на углу проезда Художественного театра, прямо напротив Центрального телеграфа, на улице Горького, во дворе). Он ставил нам немецкие пластинки, которые ему привозили. Это были Рихард Штраус, Вагнер, которого Эвальд Васильевич очень любил. Мы слушали их, все время что-то обсуждая и споря, но всегда очень дружески.

Так, с Давыдовым мы обсуждали философско-психологические проблемы. Я хорошо помню наш очень большой разговор о взглядах Спинозы (тогда я еще не знал, что у Выготского была работа о

Спинозе, а Давыдов знал). Василий Васильевич был спинозистом, и его взгляды представляли собой удивительную смесь гегельянства со спинозизмом, которая, собственно говоря, и трактовалась как современный марксизм, как основания и истоки марксизма.

Вот совсем недавно в свой обзор материалов первого совещания Комиссии по логике и психологии мышления Василий Васильевич вставил слова об особой значимости взглядов Спинозы для развития всей этой проблематики, сохранив, таким образом, свои исходные идеи до сих пор.

Я очень хорошо сейчас помню наш разговор в метро, который продолжался часов пять. Мы ездили с одной станции метро на другую, выходили где-нибудь, скажем, на площади Маяковского или на площади Свердлова, и полчаса гуляли по всем переходам. Дело было зимой, и на улице было очень холодно.

В этот момент на философском факультете проходили две очень важные для развития философии в Советском Союзе дискуссии: одна - по проблемам логики (декабрь 1953 - март 1954), а другая - так называемая гносеологическая дискуссия (апрель-май 1954).

- Кто еще из молодых философов или психологов был в группах Ильенкова и Зиновьева? И осознавали ли они сами, что разбиты на группы?

Конечно, осознавали. Оппозиция Ильенков-Зиновьев, или Зиновьев-Ильенков, была изначальной, а потом она разрывалась, вовлекая много разных людей.

- Почему Ильенков и Зиновьев? Это связано с возрастом?

Возрастной момент очень важен... А насчет того, кто куда входил, я потом скажу.

Я совсем не буду останавливаться на логической дискуссии 1953-1954 годов, тем более что я о ней неоднократно рассказывал. Это более или менее записано, более или менее известно, а вот про дискуссию апреля-мая 1954 года следует рассказать.

Дискуссия эта началась по заказу Теодора Ильича Ойзермана. Он был тогда фактически самым прогрессивным профессором на философском факультете, пользовался большим уважением и был очень влиятелен. Как, кстати, и сейчас, почти 30 лет спустя.

Он взял на свою кафедру двух молодых преподавателей: уже получившего степень кандидата философских наук, географа и геолога в прошлом, Валентина Коровикова (он теперь спецкор в Африке то ли "Известий", то ли какой-то другой газеты) и Эвальда Ильенкова, только что завершившего свою кандидатскую диссертацию (он защищался где-то в 1953 году). Коровиков находился под большим влиянием Эвальда Ильенкова, и вот они вместе и образовали первый тандем на факультете.

Теодор Ильич попросил их написать тезисы о соотношении философии и естествознания. Коровиков и Ильенков написали такие тезисы - они ходили в списках по факультету. Затем открылось совещание, на котором исходный доклад делал Коровиков, а потом началась дискуссия. Первоначально Теодор Ильич покровительствовал Ильенкову и Коровикову, все как бы происходило с его благословения, и первоначально тематика эта была, как казалось, сугубо академической и внешне не затрагивала

ситуацию, которая сложилась на факультете и вообще в Советском Союзе.

Но время было невероятно напряженным: шел первый год после смерти Сталина. На философском факультете вообще многое происходило раньше, и он первым тогда, в те годы, реагировал на события политической жизни. Борьба против культа Сталина началась практически сразу же после его смерти, т.е. с конца 1953 года. Все мы тогда чувствовали новые веяния, так или иначе способствуя их превращению в реальную практику другой жизни. Поэтому тезисы, написанные Коровиковым и Ильенковым, рассматривались и трактовались как манифест новой философии, философии "молодых", противопоставленной философии "старых".

Этот момент сразу же отразился в расстановке и консолидации людей, в притятии или неприятии ими тезисов Ильенкова-Коровикова, в определении своего отношения. Это была дискуссия, в которой молодое поколение преподавателей, аспирантов и студентов философского факультета объединилось в своем отношении к старшему поколению.

Смысл происходившего тогда состоял в том, что нельзя было продолжать философствовать прежними методами и в прежнем стиле - нужна была новая, реальная, живая философия. И один раз эта тематика уже прозвучала на предшествовавшем совещании по логике, где завязалась дискуссия с острым столкновением, по сути дела, трех направлений. Я уже рассказывал как-то, что именно на этом совещании было впервые декларировано существование нового направления в теории познающего мышления - направления, которое позднее оформилось как содержательно-генетическая логика, а тогда трактовалось как новая диалектическая логика. Новая - в противоположность той старой диалектической логике, которую представляли преподаватели факультета Черкесов, Мальцев, Никитин и другие.

На этом, втором, совещании был поднят еще более важный, более широкий и принципиальный вопрос - о взаимоотношениях между философией и естествознанием, т.е. фактически между философией и наукой. Основной тезис Ильенкова и Коровикова состоял в том, что предмет философии есть познание, а не мир. Я здесь воспроизвожу основную формулировку дословно: предмет философии есть познание, а не мир. Поэтому в дальнейшем, и в частности в партийной печати, в "Коммунисте", это движение получило название "движение гносеологов".

Сначала дискуссия проходила вроде бы академически, выступали люди - одни, другие - с большими речами. Причем форма была такая: собирались раз в неделю, это было нечто вроде расширенного заседания кафедры и факультетского Ученого совета, и там шла длинная дискуссия из недели в неделю. И вдруг перед самыми майскими праздниками произошел резкий поворот... Теодор Ильич встал и сказал, что дискуссию надо заканчивать, желающих выступать больше нет. Сказал, имея перед собой груды записок с заявками на выступление.

- Чем же было вызвано такое? Чего он испугался?

Он испугался окрика из ЦК. Тогда кто-то познакомился с материалами дискуссии и с самими тезисами, и кого-то там познакомили с тем, что происходит на философском факультете. Но тут вся суть состояла не в том, что кто-то познакомился, а скорее в том, что кто-то "из старых" особым образом, тенденциозно знакомил работников из аппарата ЦК партии с тем, что происходило на факультете. Последовало соответствующее внушение. Теодору Ильичу, наверное, погрозили пальцем



и сказали, видимо, что этого ему так не оставят и не простят...

Надо сказать, что философский факультет тех лет (конец 1953 - 1955) - это вообще бурлящее море. Дискуссии сменяли одна другую, происходили обсуждения, где молодое и старое поколения сталкивались в ожесточеннейшей, может быть, даже смертельной схватке. Смертельной, естественно, для старшего поколения, поскольку оно могло ее не выдержать.

Тогда, кстати, возникла смешная легенда, что я убил профессора Трахтенберга. Дискуссии были действительно острые... Профессор выступал по поводу диалектики, утверждая, что противоречия обнаруживаются в каждой вещи, а мне пришлось говорить после него, и я тогда вытащил монетку и попросил показать мне, где в этой вещи противоречие, разворачивающее ее. Такая трактовка "вещи", про которую он говорил, и требование вскрыть противоречие в реальности были для Трахтенберга совершеннейшей несуразностью. Он не был к этому в принципе готов. А пример был невероятно простой и наглядный, поэтому зал и хохотал. Это было очень обидно старому, заслуженному профессору, который читал на латинском языке средневековых философов... Ну злые языки и говорили, что у него из-за происшедшего случился инфаркт, и он умер, когда приехал домой. Я это рассказываю просто для того, чтобы показать, насколько тогдашние дискуссии были vitalными.

Итак, постоянно шли дискуссии, факультет бурлил, может быть, как никогда потом. Потому что потом уже никогда не повторилось это исключительно богатое время. Я думаю, что в тот момент философский факультет обладал очень высоким для нашей страны интеллектуальным потенциалом, требующим выхода. Ему было тесно в факультетских рамках, и то, что там происходило на уровне идей, имело действительно всесоюзное значение в смысле определения направления идеологической жизни, появления областей новых работ и т.д. Очень много в то время было интересных, глубоких, по-своему мыслящих людей, и они очень остро все это переживали и обсуждали. Было много нерешенных, накопившихся за прошлые десятилетия, просто даже никак и никогда не обсуждавшихся проблем. И все выплеснулось после смерти Сталина...

Итак, по-видимому, Ойзерману кто-то пригрозил, поскольку он решил все происходившее свернуть и заявил, что нет больше желающих выступать.

Вообще-то ситуация была какой-то странной, но мы уже привыкли в то время бороться. Мы уже были готовы к борьбе и были фактически уже неуправляемыми, т.е. профессура не могла нами управлять.

Вот я и встал, и сказал, что писал записку и не отказываюсь от выступления. Начали вставать аспиранты - Зиновьев, Грушин, Кудинова, Пышков и многие другие - и заявлять, что они тоже хотят выступить. И все это создало невероятно напряженную атмосферу - Ойзерман оказался в очень трудном положении. Там было много его аспирантов, и единственное, что он мог, это говорить им, скажем, обращаясь к Кудиновой:

- Слава Ивановна, Вы ошибаетесь, Вы не хотите выступать, Вы хотите защищать диссертацию у нас на факультете.

- Нет, я хочу и диссертацию защищать, и выступать.

- Но две эти вещи сделать нельзя - либо выступать, либо защищать диссертацию.

- Ну, тогда - выступить.

(Надо сказать, что после этого совещания у многих гносеологов действительно появились проблемы. Скажем, те из них, кто был к тому времени кандидатом в члены КПСС, потом не были приняты в члены партии, многих просто отчислили из аспирантуры...)

Услышав все это, Ойзерман сказал следующее:

- Ну, хорошо. Сколько вас? У нас будет еще одно заседание, на котором мы должны все закончить. - Он прикинул и сказал, что если каждому дать по восемь минут, то мы закончим на следующей неделе, а до того он еще с нами поговорит.

На этом мы и разошлись.

Дальше было очень интересное совещание дома у Эвальда Васильевича Ильенкова (под Вагнера): что же делать? И многие решили выступить.

Через неделю история повторилась. Ойзерман встал и сказал, что многие из желавших выступить отказались, сняли свои фамилии. Осталось человек десять. Но поскольку у каждого было по восемь минут, это обострило ситуацию, потому что если бы были долгие выступления, то, может быть, наше неприятие не прозвучало бы так четко, так остро. Все говорили очень жестко, и это была фактически демонстрация нежелания молодого поколения философов думать по-старому, жить в той рутине, которая сложилась.

И очень здорово подытожил все Александр Зиновьев, закончивший свое короткое, пятиминутное выступление следующими словами: "Если бы Маркс был жив, он бы к своим одиннадцати тезисам добавил двенадцатый: раньше буржуазные философы объясняли мир, а советские философы и этого не делают" - чем вызвал оглушительные аплодисменты всего зала.

Наше положение на той дискуссии было довольно трудным, поскольку мы не принимали основной тезис Ильенкова и Коровикова: предмет философии - познание, а не мир. Я, скажем, на этом совещании отстаивал другой тезис: предмет философии - познание и тем самым мир, данный через познание.

Собственно говоря, если вернуться опять к вопросу о принципиальном различии между двумя группами, активно работавшими тогда на философском факультете, то оно состояло в отрицании идеи онтологии группой неогегельянцев, т.е. группой Ильенкова, и в признании идеи онтологии группой Зиновьева.

Причем проявлялось это в совершенно разных аспектах. Например, если для меня - и в этом состоял смысл моих ранних работ - парадоксы, антиномии, или противоречия, принадлежали только миру нашей мысли и не могли переноситься, или проецироваться, - скажем так, - в мир, то для Ильенкова и для его учеников и последователей противоречия нашей мысли оказывались вместе с тем противоречиями самого объекта.

Кстати, тогда ведь и получалось, что философия, изучающая познание, включает все, но формулировали это последователи Ильенкова в странном тезисе: познание, а не мир. Серьезное

обсуждение этого тезиса требует другого контекста и целого ряда различий. Я ведь касаюсь его сейчас только для того, чтобы прояснить ситуацию, или обстановку: почему нам было так трудно солидаризироваться с основными тезисами докладов Коровикова и Ильенкова.

Тем не менее, мы поневоле должны были это делать, поскольку основным смыслом происшедшего было столкновение между старшим поколением и молодыми преподавателями, аспирантами и студентами - молодым поколением. И, собственно, именно это и выразил Зиновьев в своем выступлении, когда говорил, что дело совсем не в тезисах того или иного рода, а в том, что молодежь не хочет, и не может, и не будет работать по-старому, она хочет мыслить свободно.

Я вспомнил эти философские дискуссии, чтобы подчеркнуть, что в тот момент наши связи с Давыдовым во многом определялись тем, что происходило на факультете. Он, правда, старался не принимать в этих дискуссиях прямого участия, но жил этими проблемами, обсуждал их все время с Ильенковым и другими. И так как у нас с ним возникли и развивались контакты в первую очередь на философской почве, я и привлек его как философствующего психолога к семинару по логике и методологии, который начал работать в 1955 году (это был логико-методологический семинар на философском факультете), и он сделал там несколько докладов.

Этот семинар был закрыт после очень смешного заявления его номинального руководителя Евгения Казимировича Войшвилло в партбюро факультета, членом которого он был, с просьбой рассмотреть его персональное дело и наказать за то, что он не справился со своей ролью руководителя семинара. Дело действительно рассмотрели и семинар после года существования закрыли. Надо сказать, что в то время происходили известные венгерские события, одно совпало с другим. Как бы то ни было, но в результате поле собственно логической, поле собственно философской работы оказалось для меня закрытым.

Я уже как-то рассказывал об очень смешном эпизоде, связанным с этим событием: после разбора работы семинара на Ученом совете из моего личного дела вынули фотокарточку, увеличили, положили эту карточку размером в ладонь под стекло вахтеру (вход на философский факультет тогда был по пропускам; их, правда, никто не спрашивал, но вахтеры сидели) и приказали меня на факультет не пускать.

Вот с этого момента моя связь с психологами становится более тесной. Я предпринял две попытки создать теоретический и методологический семинар по психологии, где обсуждались бы смежные проблемы: философско-психологические, логико-методологические. Это была, во-первых, попытка создать семинар по системному подходу в психологии. Такой семинар начал свою работу у меня дома, на Соколе, и в него входили: Давыдов, Гиппенрейтер, Шехтер, Матюшкин, Яромир Еноушек, который тогда учился у нас в Советском Союзе, Эрик Соловьев, Вадим Садовский, Оля Овчинникова, Тюхтин, Голомшток и др.

- Где Вы тогда работали?

Я тогда работал в школе, преподавал психологию, логику, физику. После окончания философского факультета я сделал неудачную попытку поступить в аспирантуру, но получил трояк по специальности, что было предрешено, поскольку я был предупрежден, что меня не возьмут. Тем не менее решил, что сдавать все равно буду...

Так вот, была предпринята попытка создать такой семинар по системному подходу в психологии и на этой базе сплотить психологов, логиков, философов. Мне это важно подчеркнуть, потому что это как раз был тот год, когда в Соединенных Штатах точно так же делалась попытка создать системный подход. Мы же его начали разрабатывать практически в 1952-1953 годах, и то, что происходило на совместном с психологами семинаре, было уже попыткой приложения системных идей в определенной предметной области.

- А Вы знали о параллельной работе американцев?

Тогда - нет. В Соединенных Штатах основателями этого направления стали Людвиг фон Берталанфи и Анатоль Раппопорт. В 1956 году были созданы общество и ежегодник General Systems.

А у нас системная проблематика выростала из анализа "Капитала" и носила общеметодологический, философский характер, но поскольку мы сейчас говорим о связях с психологией, я только о них и говорю.

- Американцы тоже тогда предпринимали попытки приложения системного анализа в психологии?

Я думаю, что подобные попытки приложения были предприняты ими много, лет на десять, позже. А у нас - это четко оформленное направление, давно осознанное. В то время на философском факультете уже защищались диссертации, в частности Грушина, Мамардашвили, была и моя работа, специально посвященные методам системного анализа в разных науках.

Чтобы представить себе, что тогда обсуждалось, Вы можете взять книжку Бориса Андреевича Грушина "Очерки логики исторического исследования" (это его диссертация, которая делалась им с 1952 по 1955 год). Это результат системных, методологических обсуждений всего нашего кружка.

- Грушин и Мамардашвили входили в группу Зиновьева?

Да. Первоначально эта группа состояла из четырех человек: Зиновьев, Грушин, я, потом Мамардашвили. Мамардашвили примкнул к нам сразу после совещания "гносеологов".

И затем, что очень интересно, была сделана попытка расширить этот семинар уже с привлечением широкого круга психологов. Тогда я завязал отношения с Яковом Александровичем Пономаревым, и первоначально мы стали собираться на квартире его жены - Тани Розановой. Это семья очень известная в России, с очень давними традициями. Сам Яков Александрович после окончания отделения психологии философского факультета МГУ работал экскурсоводом в Уголке Дурова и рассказывал посетителям о психике слонов, мышей и крыс.

- Она и сейчас его жена?

Нет, она потом вышла за Александра Соколова - психолога, который занимается речью и мыслью.

Итак, на этом расширенном семинаре - он, как я уже сказал, первоначально собирался на квартире у Розановой, а потом много раз на квартире у Владимира Яковлевича Дымерского - обсуждалась своего рода программа построения теории психологии - такой, какой она тогда могла быть, а именно теории психического. Участниками этого семинара были: Пономарев, Давыдов, Матюшкин, Сохин, Зинченко, Шехтер, я, реже бывала Гиппенрейтер, временами приезжал из Ленинграда Веккер.

Основным материалом для обсуждения были представления Пономарева о субъектно-объектном взаимодействии и о развитии в условиях субъектно-объектного взаимодействия, которые отражены в его книжке "Творческое мышление". Но опять-таки я сейчас не буду говорить о тематике обоих семинаров, просто надо поднять материалы, которые у меня хранятся, - записи прямо по числам: когда что было, какие доклады и так далее, - надо только все привести в порядок. В материалах есть короткие отпечатанные тезисы, заметки по докладам.

Цель и смысл всего происходившего тогда состояли в том, чтобы собрать коллектив мыслящих психологов, которые могли бы обсуждать теоретические, методологические проблемы психологии и науки вообще, потому что в тот момент у нас в кружке шло интенсивное формирование собственно методологии. А мы представляли методологию как систему, объемлющую специальные науки, и поэтому я в этот период рассматривал психологию как область приложения методологических идей. Согласно этим идеям надо было строить психологию, социологию. Собственно говоря, в этом я видел смысл методологической работы, и мы уже непосредственно в нашем методологическом кружке намечали программу развития гуманитарных наук. Я опять-таки здесь оставляю в стороне развитие наших логических и методологических идей, всю ту борьбу, которая у нас шла по линии философского факультета, кафедры. Это надо рассказывать отдельно, я сейчас этого не касаюсь, а рассказываю лишь о линии психологической.

- Пономарев был учеником Рубинштейна?

Пономарев никогда не был учеником Рубинштейна - он вообще ничей не ученик.

Пономарев есть Пономарев, он самобытен, он сам по себе. Яков Пономарев поступил на философское отделение ИФЛИ (Института философии, литературы и истории) в 1938 или 1939 году. Он учился в школе за одной партией с Павлом Васильевичем Копниным, и Павел Васильевич пошел в ИФЛИ вслед за Пономаревым и поскольку туда пошел Пономарев. Это было очень интересное заведение, и историю его надо писать особо. Там учились вместе: Нарский, Копнин, Пономарев, Зиновьев, а также многие другие, погибшие потом в годы войны. Они в подавляющем большинстве либо ушли добровольцами на фронт, либо их взяли на фронт, и только немногие из них вернулись. Вернулись уже на философский факультет, поскольку ИФЛИ в 1942 году был расформирован и переведен на философский факультет МГУ.

Яков Александрович попал в плен, к австрийцам, и поэтому когда он вернулся, то уже не мог быть философом, его не принимали. Единственное, что ему разрешили после всех фильтраций, это учиться на психологическом отделении. Но когда он его закончил, то не получил распределения, потому и работал экскурсоводом в Уголке Дурова. Свою философскую точку зрения он отстаивал и развивал в отношении психологии и психики. Ничьим учеником он никогда не был, а был всегда сам по себе. Так же, как и Александр Зиновьев, и так же, как сам по себе был Эвальд Васильевич Ильенков. Разве что только его учителями, наверное, можно считать Гегеля и Маркса.

Итак, работал такой домашний семинар, и нам все время нужна была "крыша" для публичной работы с выходом на "общую сцену", поэтому мы искали возможного руководителя и покровителя для этого семинара. И поскольку было много участников с кафедры психологии и некоторые из них, как например Юлия Гиппенрейтер, Оля Овчинникова, были непосредственно аспирантами Алексея Николаевича Леонтьева, то они и предложили его в качестве такого руководителя.

И вот, где-то в 1956 году, я сейчас уже не помню точно, думаю, что в конце 1956 года, мы отправились с Юлей Гиппенрейтер к А.Н.Леонтьеву обсуждать проблему семинара. Причем я вспоминаю, как нам пришлось ходить раза три или четыре, чтобы получить хоть какой-то ответ. Он очень любил рассказывать молодым людям и молодым девушкам "за жизнь", "за психологию" ...

Сидели мы, как правило, до полдвенадцатого, придя часов в девять, и он рассказывал нам всевозможные байки. Кое-что иногда нас спрашивал, в частности меня, поскольку я был новым лицом для него, и он стремился, как он сам любил говорить, меня "обаять". И вообще обаяние для него - понятие техническое. Он рассказывал самые разные истории, рассказывал про Тейяра де Шардена, какие-то истории про самого себя, про кружок и т.п. И наконец дал свое согласие. В итоге на философском факультете впервые собрался психологический семинар - где-то в начале 1957 года, и мы начали с обсуждения программы работ. На нескольких первых заседаниях этого семинара, а их было, наверное, четыре или пять, присутствовал Э.В.Ильенков.

Я предложил программу изучения прежде всего наследия Л.С.Выготского, выработки отношения к нему. Алексей Николаевич разнервничался, обозвал все глупостями, сказал, что нечего всем этим заниматься, потому что, во-первых, это никому не под силу, во-вторых, вообще несвоевременно, а надо заниматься маленькими конкретными проблемами и их, так сказать, штудировать, брать достаточно узко. А так как там собрались люди, претендовавшие в основном на теоретическую работу, и каждый из них - тот же Пономарев или, скажем, Давыдов, Ильенков, я - думал о себе, что если он и не самый умный в мире, то во всяком случае способен на что-то значительное, то, естественно, установка Леонтьева сразу вошла в противоречие с чаяниями и ожиданиями остальных участников семинара.

Хотя и были сделаны первые попытки докладов, но с каждым разом ситуация все больше и больше обострялась, приобретала все более конфликтный характер. А потом Алексей Николаевич Леонтьев применил "итальянскую", что ли, тактику: он просто каждый раз говорил, что вот в этот раз он не сможет прийти, а когда мы просили у него разрешения провести семинар без него, отвечал, что без него этого делать нельзя. Таким образом, семинар сдвигался на неделю, потом еще на одну, потом еще ..., пока мы не поняли, что это гиблый номер. На этом все и закончилось.

Прекратился семинар под руководством Леонтьева, хотя, повторяю, несколько докладов, порядка четырех, нам удалось сделать, и я, в частности, сделал доклад об онтологическом представлении мышления как культурно-исторического процесса. В этом докладе я использовал мысль Вильгельма Гумбольдта о том, что не человек овладевает языком, а язык овладевает человеком, и точно так же мышление: оно не порождается человеком, в его голове, а "проходит" через голову человека, преобразуясь и трансформируясь в ней. И поэтому мы должны рассматривать мышление как своего рода субстанцию, которая существует сама по себе в своем самодвижении.

Тут Алексей Николаевич совершенно вышел из себя и повесил на меня все ярлыки, какие только смог, сказав, что это, во-первых, идеализм, во-вторых, вообще несуразность абсолютнейшая, не соответствующая никаким представлениям: ни марксистским, ни Выготского - никаким. Произошло очень резкое столкновение, потому что я утверждал, что именно таковы взгляды Выготского и в этом весь смысл культурно-исторического подхода. Семинар закончился заключительным словом Алексея Николаевича с прямыми оскорблениями: мол, все это претензия и потуги на гениальность, а он, как

здравомыслящий человек, не может разделять подобные мысли.

Каково же было мое удивление и даже известная растерянность, когда примерно через месяц пришла Неля Пантина и сказала, что Алексей Николаевич сделал доклад о мышлении, которое не порождается мозгом, а проходит сквозь людей, лишь преобразуясь в них. А так как он чувствовал себя, по-видимому, очень неловко, поскольку она присутствовала и на моем докладе, то написал ей записочку (она хранится у меня в архиве): "Неля, Вы понимаете, почему я так ругал т. Щедровицкого? То, что он говорил, очень совпадает с моими взглядами, но только было изложено на тарабарском жаргоне".

Вот, собственно, чем закончилась попытка создать психологический семинар на факультете, и мы начали искать другого покровителя. Первый, к кому мы обратились тогда, был Борис Михайлович Теплов. Теплов сказал, что, может быть, он и возьмет семинар под свое крыло, но сначала должен посмотреть, что и как, поэтому пусть семинар пробно соберется, кто-нибудь сделает доклад о возможном направлении и программе работы - и тогда он решит.

Борис Михайлович Теплов был в то время действительным членом Академии педагогических наук СССР, заведующим отделом Института психологии, главным редактором журнала "Вопросы психологии" и, фактически, идеологом и лидером Института психологии - его "серым кардиналом". Он был очень ядовитым, остроумным, саркастическим человеком. Из-за постоянных почечных болей у него всегда было очень недовольное выражение лица, и его все так боялись в Институте психологии, что он практически безраздельно правил там. Директором Института тогда был Анатолий Александрович Смирнов.

Это была одна из моих первых встреч с Тепловым. Раньше я его видел в 1949 году, когда переходил на философский факультет. Тогда после отстранения Сергея Леонидовича Рубинштейна он взял на себя функции заведующего кафедрой. Кстати, в биографии А.Н.Леонтьева приведены неточные сведения: он не был заведующим кафедрой психологии в то время, которое указано на обороте его книжки "Деятельность, сознание, личность" - этой кафедрой заведовал тогда Борис Михайлович Теплов, а Леонтьев был профессором на этой кафедре и только потом, через полтора или два года, сменил Теплова. Теплов ушел сам - его как-то это не очень все занимало, ему было тяжело управлять (а он именно управлял, а не царствовал) даже Институтом психологии.

И вот Теплов согласился нас выслушать с тем, чтобы решить, возьмет он наш семинар или не возьмет. Мы между собой обсудили, кому делать этот доклад, и решили, что лучше всего это сделает Давыдов.

Дело было вечером, после работы, в коридоре Института психологии на втором этаже. Там есть такой проход у лестницы, соединяющий два коридора, там стоял стол, и на него была поставлена доска. Теплов сидел у стола рядом с доской с болезненным и скучающим видом. Давыдов рассказывал о понятии числа и формировании этого понятия у детей. Я сидел сбоку и наблюдал за ними. Теплов слушал 30-40 минут, а потом сказал - надо отдать ему должное - четко и ясно: "Вы мне не подходите". Давыдов попробовал осторожно выяснить, а почему мы не подходим, на что Теплов ему ответил: "Вы мне просто не подходите. Зачем же объяснять, почему".

И вот тогда наши взоры обратились на Петра Алексеевича Шеварева, и тут уже начинается история

как бы совершенно другого рода.

Я познакомился с Петром Алексеевичем Шеваревым летом 1957 года. Это был год создания нового журнала Академии педагогических наук РСФСР - "Доклады Академии". В 1957 году, а может быть, это было уже в 1956-м, толком не помню, он начал выходить под общей редакцией Александра Романовича Лурии. Надо отдать должное А.Р.Лурии: он очень много сделал по организации собственно научных изданий, и я думаю, что журнал "Доклады АПН РСФСР", который во многом определил рост и развитие советской психологической науки в 1950-1960 годы, один из многих памятников ему.

Журнал начал выходить как ежеквартальник, т.е. четыре раза в год, затем стал двухмесячным - выходил шесть раз в год, и издавался до 1962 или даже 1963 года.

Хотя журнал помещал только маленькие сжатые сообщения, тем не менее, это дало возможность подняться огромному пласту молодых психологов и педагогов. Вообще в это время начинается подлинное развитие самой психологии. До сих пор она была даже не профессией, а родом занятий для очень небольшой, локальной группы людей, занимавшихся чисто научно-исследовательской работой. Мест для работы было мало, и все они были заполнены. Очень часто студентами психологического отделения овладевало неверие в свое будущее, они депрофессионализировались, поскольку считали, что возможностей для дальнейшего роста нет. Но как раз в конце 50-х годов уже складывалась какая-то новая ситуация, которая должна была закончиться расширением возможностей и появлением рабочих, производственных мест для психологов, связанным с расширением сферы приложения психологии. Так оно и произошло, и мы тогда хорошо понимали и знали, что необходим ряд условий и механизмов, оформляющих этот процесс, и, в частности, появление "Докладов АПН РСФСР" стало одним из таких важных механизмов.

Как раз в январе 1957 года вышла первая моя работа в журнале "Вопросы языкознания" под названием "Языковое мышление и его анализ". И вот Василий Давыдов, - а он стал фактически издательским редактором "Докладов АПН РСФСР" - предложил мне написать туда статью, и когда встал вопрос, а кто же, собственно говоря, может ее представить, то Володя Зинченко сказал, что единственный человек, который способен отнестись не предвзято и вообще рассматривать по содержанию - это Петр Алексеевич Шеварев.

Надо сказать, что в "Доклады" статьи сдавались по представлению академика или члена-корреспондента Академии педагогических наук. Он должен был прочесть статью, определить ее научное достоинство, или качество, и поэтому на изданиях всегда стояло наверху: представлено академиком таким-то, представлено членом-корреспондентом таким-то, т.е. всегда кто-то должен был взять на себя функцию представления и гарантировать качество публикуемой работы.

И вот летом или, может быть, весной 1957 года Володя Зинченко познакомил меня с Петром Алексеевичем Шеваревым.

Я принес ему статью -- это была программная работа "О возможных путях исследования мышления как деятельности", написанная вместе с Никитой Глебовичем Алексеевым, - и оттиск из журнала "Вопросы языкознания". Он взялся их прочитать.



Я уже сказал, что Петр Алексеевич Шеварев был одним из тех немногих повстречавшихся мне в жизни людей, кто был действительно искренне и до конца предан науке и жил наукой. Впоследствии, если я правильно понимаю, он очень симпатизировал мне, я часто бывал у него дома. Каждую сданную ему статью он прочитывал детальнейшим образом и ставил невероятное количество вопросов. В печать ни одна моя работа не проходила через него сразу: мне приходилось делать четыре-пять вариантов, прежде чем он ее подписывал. При этом он заставлял меня все время разворачивать содержание.

Дело в том, что серии моих публикаций, такие, например, как "О строении атрибутивного знания" или "Принципы параллелизма...", первоначально представляли собой одно единственное сообщение, каждое из которых раслаивалось и расширялось в процессе ответов на вопросы Петра Алексеевича. Я тогда питал обычную для молодежи иллюзию, что надо сразу по возможности больше сказать в одной статье, и поэтому так уплотнял каждый текст, что понять его в принципе было невозможно. Так вот, Шеварев заставлял меня разворачивать содержание моих текстов, пользуясь для этого каждым возможным случаем.

Я приходил к нему домой, а он жил на Чистых прудах, почти напротив нынешнего здания театра "Современник", тогда там помещался кинотеатр. Мы с ним долго сидели, обсуждая разные вопросы истории психологии, логики. Он рассказывал о психологах, жизни в психологии, о Георгии Ивановиче Челпанове и о челпановцах. Все, что я знаю об этом, я знаю от него. Он передавал мне свое отношение к миру психологии.

Петр Алексеевич Шеварев принадлежал к первому поколению учеников Георгия Ивановича Челпанова. После окончания провинциальной гимназии, очень известной качеством своего обучения, он поступил на историко-филологический факультет Московского университета, на классическое отделение, и где-то курсе на третьем пришел к Челпанову и попросил разрешения войти в его семинар.

- Когда я обратился с этой просьбой к профессору, - рассказывал Шеварев, - он секундочку подумал, потом сказал: "Ну что же", - и тотчас спросил меня, какой язык я изучал в гимназии. Я ему ответил, что французский и немецкий. Он сказал: "Прекрасно", - и дальше завел разговор о том, что меня интересует, чем я хочу заниматься, как я себе мыслю профессию, специальность, или призвание (как, наверное, тогда говорили), психолога. И, когда беседа закончилась, предупредил, что условием вступления в семинар является реферативный или какой-то другой доклад, и добавил, что лучше всего сделать доклад по Титченеру. Затем подошел к своему книжному шкафу, вынул оттуда какую-то книжку, вручил ее мне - а дело было в апреле - и сказал: "В сентябре Вы будете делать доклад. Милости просим". Попрощался со мной, и я вышел. Вышел, там же на лестничной клетке развернул книгу и увидел, что книга на английском языке. "Тьфу, - подумал я, - вот тебе на, до чего дырявая память у профессора!", - и уже было повернулся назад к двери, но тут задумался. Мне показалось удивительно стыдным прийти и сказать, что я не знаю английского языка и что он ошибся. Я постоял несколько минут, потом повернулся и пошел домой. И пока я шел, я уже начал понимать, что у меня только два выхода: либо забыть про свои мечты заниматься психологией, либо выучить английский язык, читая и переводя Титченера.

Петр Алексеевич выучил английский и с успехом сделал свой доклад в сентябре. Потом, как он

рассказывал, когда они стали большими друзьями с Георгием Ивановичем, уже через много лет, он его спросил:

- Георгий Иванович, а когда Вы мне Титченера дали, Вы что запомнили, что я английского не знал, или специально?

- Конечно, специально, - ответил Челпанов. - Я, во-первых, хотел Вас проверить, а, во-вторых, хотел, чтобы Вы выучили английский язык.

Петр Алексеевич Шеварев очень любил и уважал Челпанова. Он считал, что Челпанов обладал удивительным даром говорить просто на самые сложные темы. Он мне рассказывал, как читались публичные лекции в Физиологической, как она тогда называлась, лаборатории, т.е. в нынешнем Институте психологии, где Вы сейчас работаете, Коля. В то время, когда она была создана (1912), в ней было всего два штатных работника: электротехник и плотник, которые одновременно выполняли и функции гардеробщиков в дни публичных лекций. Тогда открывалась парадная, основная дверь для прохода в большую психологическую аудиторию, и гардеробщики вставали на свои места, а в обычные дни эта дверь была закрыта, а вход был через маленькую дверь, находящуюся в торце Психологического института, - сейчас ее открывают, когда чинят основной проход.

Главным в работе этой лаборатории, или Института, были: во-первых, семинар, который вел Челпанов и который собирался раз в две недели по хорошей вундтовской традиции, во-вторых, библиотека, которая работала без библиотекаря и в которую все время поступали новые зарубежные издания, и, в-третьих, экспериментальные комнаты, которыми психологи, участники семинара, могли пользоваться по своему усмотрению. После того как человек делал доклад и входил в семинар, Георгий Иванович Челпанов вручал ему (ей) ключ от двери как символ того, что он (она) становится полноправным психологом. И теперь новичок мог приходить в любое время дня и ночи и работать там, пользоваться библиотекой. Был только один закон: брать книги домой нельзя. И, как рассказывал Петр Алексеевич, за все время дореволюционного существования Института там не пропало ни одной книги.

В дни публичных лекций Челпанов приходил в большую аудиторию, где собирались представители интеллигенции Москвы, и рассказывал им об успехах психологии. Он был не только прекрасный лектор, но и фокусник. Например, когда он рассказывал о зоопсихологии, то приходил на лекцию, как тогда было принято, в черном сюртуке или фраке (я не очень хорошо их различаю) и, скажем, первые 20-30 минут свободно ходил перед досками, которые тогда вращались (я, кстати, застал их еще вращающимися), и вдруг неожиданно, раскрыв свой пиджак, выпускал на большой стол, скажем, четырех или трех белых свинок. Оказывается, он их носил под мышкой первую часть лекции, и они у него там тихонечко сидели. Он демонстрировал какие-то опыты с этими свинками, а потом, когда все заканчивалось, подходил к ним, приоткрывал свой сюртук, и они исчезали там у него под сюртуком.

И все это происходило на глазах у изумленной публики. Пока он читал оставшуюся часть лекции, слушатели размышляли, где и как они все умещались.

В семинаре у него работали очень интересные люди. Постоянными участниками семинара в течение нескольких лет были, например, Пастернак и целый ряд людей, снискавших себе известность потом на различных поприщах. Как Вы понимаете, тогда психологического образования не существовало.

Это были в основном студенты историко-филологического факультета, разных его отделений, и точно так же, как Ланге в Новороссийском университете, Челпанов постепенно подбирал контингент людей и создавал русскую психологическую школу, русскую психологическую экспериментальную школу.

Здесь требуется одна, очень существенная оговорка. Дело в том, что наряду с Челпановым работал Лопатин и существовала метафизическая психология в школе Лопатина, и эту линию - я о ней практически ничего не знаю - надо восстанавливать особо, устанавливать, кто и как там работал. Но такие люди, как, скажем, Анатолий Александрович Смирнов, Николай Федорович Добрынин, Петр Алексеевич Шеварев, Михаил Васильевич Соколов и многие, многие другие - это студенты историко-филологического или медицинского факультетов, которые были собраны Челпановым и составили костяк русских экспериментальных психологов. Сам Челпанов, как Вы знаете, учился у Вундта, и Институт психологии есть копия вундтовского лейпцигского института: когда благодаря купцу Щукину и другим жертвователям были собраны деньги для открытия института, он попросил скопировать лейпцигский институт и сделать там все - вплоть до дверных ручек и замков - так, как было у Вундта. Так оно и есть по сию пору.

Челпанов был человеком науки и не очень здорово разбирался в политике и в том, что произошло в России в 1917 году. Поэтому, когда Константин Николаевич Корнилов - человек, которого он внутренне достаточно уважал, - начал борьбу за материализм и марксизм в психологии и обвинил Челпанова в том, что он идеалист, то Челпанов, как маленький ребенок, сказал: "Ой, как здорово! Теперь у нас, в нашей русской, советской психологии будет два больших направления: материалистическое, которое будете возглавлять Вы, и идеалистическое, в котором буду работать я, и мы будем, обогащая друг друга, двигаться вперед. Это же новый, очень важный шаг в развитии нашей российской психологии".

Челпанов совершенно не понимал, какого рода организационные выводы за этим последуют, и когда ему объяснили, он очень был растерян, и его, насколько я понимаю, попросили или вынудили его ученики выступить со статьей, что он совсем не идеалист. Это было в 1923 году.

Борьба за материализм в психологии шла с большим успехом, и хотя Корнилов оставил Челпанова в Институте, его лишили права преподавать в университете и отстранили от руководства Институтом (он тогда назывался "Психологический институт" или как-то вроде этого). И тогда в знак протеста целый ряд его учеников, и в частности Николай Федорович Добрынин, Анатолий Александрович Смирнов, Петр Алексеевич Шеварев, подали в отставку из университета и из Института.

Петр Алексеевич рассказывал мне такую историю: когда все это обсуждалось в узком кругу учеников и сотрудников Г.И.Челпанова, прибежал весьма возбужденный студент \*.\* и сказал: "Георгий Иванович, я тоже подаю из университета". На это ему Челпанов ответил: "Дорогой мой, из университета люди подают по убеждениям, а у Вас их нет и, по-видимому, никогда не будет". И так как это было сказано в довольно широком кругу и получило огласку, то с этого момента, насколько я понимаю, тогдашний студент \*.\* смертельно ненавидел Челпанова. Эта ненависть стала основной чертой его жизненной позиции.

Я спросил у Петра Алексеевича, почему, собственно, Георгий Иванович был таким жестким. Он мне ответил, что Челпанов никогда не был добреньким, он был человеком очень прямым, всегда предельно определенным и никогда не пытался создавать у людей ложных впечатлений. Он сказал,

что Челпанов учил его, что всякий научный тезис и всякое положение всегда направлены против чего-то. Поэтому первое, что он привык спрашивать у начинающего ученого: против чего вы? что вы хотите разрушить? что вы хотите преодолеть? "И я, - сказал Петр Алексеевич Шеварев, - постоянно это спрашиваю у своих аспирантов. И когда мне отвечают в манере, которая принята в наши дни, что он-де не против чего-то, что он всегда только за, я перестаю контактировать и общаться с таким человеком, потому что я уже знаю, что в науке ему нет места. Поэтому, - продолжал он, - то, что Георгий Иванович так ответил студенту \*\*, было выражением его очень четкой, продуманной и определенной нравственной, человеческой позиции". Вот так Петр Алексеевич Шеварев это оценивал.

Он мне рассказал также, что Челпанов до самой своей смерти сохранял дружеские отношения с Корниловым, фактически изгнавшим его из Института и лишившим его дела всей жизни. И больше того, они встречались практически каждую неделю и обсуждали состояние и перспективы развития психологии. И когда Шеварев спрашивал у Челпанова, почему же он так себя странно ведет, то Челпанов отвечал: "Ведь Корнилов борется со мной из идейных побуждений, и он борется со мной искренне. Поэтому то, что он победил в общественном мнении, изгнал меня из Института, не имеет никакого отношения к его личности, его личным качествам и нашим взаимоотношениям". Надо сказать, что Корнилов платил ему той же монетой, и когда Челпанова стали выгонять на пенсию, то он, по словам Петра Алексеевича, приложил очень много сил для того, чтобы выхлопотать ему персональную пенсию. Вот такими были отношения между этими людьми, и такими были их позиции. <...>

Я должен к этому добавить, что в самом Институте психологии Петра Алексеевича Шеварева всегда считали добрым, честным и принципиальным человеком; его иногда даже называли за глаза "воробышком", подчеркивая тем самым, что он вообще никого никогда не обидит. Я хочу, чтобы Вы понимали, как звучало и что означало в устах такого человека то, что он мне рассказывал о жесткости собственной позиции, о позиции его учителя Челпанова, о судьбах этих ушедших людей.

Володя Зинченко как-то, смеясь, сказал мне: "Ну Шеварев никогда ничего не создаст и не может создать. Он всякую мелочь обсасывает, читая по-французски, немецки, английски, латински, гречески и еще как-то, до тех пор пока не выяснит все и вся по поводу этой ерунды. И пока он этого не сделает, он не считает себя вправе ничего публиковать. Поэтому-то он никогда ничего не сделает в жизни".

Это была уже совершенно другая культура, совершенно другая философия.

Я по своему положению, ориентации, по групповой принадлежности был в другой группе - в группе учеников Выготского, о чем Шеварев прекрасно знал. Но это никогда не мешало ему обсуждать все проблемы по существу, у него вообще отсутствовало при обсуждении научной проблематики групповое отношение, отношение человека другой кланки, хотя принципы кланки он знал прекрасно. Например, он мне говорил:

- Я не люблю учеников Выготского.

- Почему, Петр Алексеевич?

- Они - как одесские фарцовщики. Это группа, для которой нет истин, для них есть только "наш" или

"не наш", свой, принадлежащий группе, или чужой.

В те годы мне это казалось очень странным, и я всегда высказывал сомнение. Он мне говорил: "Георгий Петрович, поживете - разберетесь".

Надо сказать, старик был абсолютно прав, и я многократно убеждался в правильности его суждений, т.е. в том, что группа учеников Выготского живет и всегда жила прежде всего по принципу "свой" или "чужой", и этим определялись их отношения. Проблема содержания, истины отходила всегда на задний план. Она не уходила вообще, она присутствовала, но она была всегда вторичной. Сохранение дружеских отношений внутри группы и борьба против других - вот это все вошло в их плоть и кровь. Они так воспитывались, это было всегда определяющим элементом их групповой культуры. И больше того, они никогда не считали подобную групповщину безнравственной.

Я очень уважал \*.\* , который мне казался очень симпатичным, резким, прямым, открытым, и мое представление рухнуло, было разрушено, растоптано, когда в 1965 году он пришел на Ученый совет Института дошкольного воспитания, где обсуждалась докторская Нелли Непомнящей - утверждать или не утверждать. Он выступал против докторской диссертации, ругал ее на Совете, а потом отвел меня в угол и сказал: "Юра, Вы меня простите, ради Бога. Конечно, все, что я говорил - это ерунда, у нее очень хорошая работа. Но \*.\* попросил меня не пропускать ее, и я не мог ему отказать, потому что в тяжелый 1948 год, когда я пять или шесть месяцев ходил, мыкался, не мог найти работу, он меня взял с большим трудом в свою лабораторию, и для меня его просьба - закон".

Я не рискнул бы сейчас как-то осуждать этих людей и не хочу, чтобы все то, что я говорю, воспринималось как личная негативная оценка - я далек от этого. Больше того, я даже не знаю, могу и вправе ли я здесь вообще давать оценки. Это очень тонкое дело. Я просто фиксирую этот момент как факт образа жизни и культуры людей, усвоенных ими в тех, по-видимому, очень непростых, может быть, тяжелых, часто смертельных ситуациях, в которые они попадали. Но на этом примере хочется показать разницу между людьми того, предшествующего поколения, которые воспитывались в совершенно другой культуре, на совершенно других принципах, и людьми нового поколения, воспитывавшимися уже в 20-30-е годы. У них другая нравственность, другая логика, а может быть, правильнее сказать, что это уже люди безнравственные, люди, для которых политическая конъюнктура, политические соотношения, оценки "свой-чужой" стали в принципе превалирующими и определяющими их поведение. Может быть, все дело в том, что их долго били, и в том, что они вынуждены были жить как узкая группа, защищаясь от ударов со всех сторон, и поэтому, когда они приобрели некоторую власть, то использовали ее в том духе, в котором были воспитаны. Я лишь подчеркиваю сейчас различие культур двух поколений, сменивших друг друга, - вот что должно быть известно, должно быть понятно. Я далек от позиции осуждения, но я вместе с тем думаю, что вот такая позиция - и это то, что я извлек из опыта общения со всеми этими людьми, часто совместной работы с ними, столкновений - сделала для них в принципе невозможным занятие наукой. Нельзя быть ученым, мыслителем с такими ценностями, с такой культурой. Вот что, на мой взгляд, важно.

Итак, я Вам сказал, что весной или летом 1957 года Владимир Зинченко познакомил меня с Петром Алексеевичем Шеваревым. Шеварев начал представлять мои статьи в "Доклады АПН РСФСР", и когда Борис Михайлович Теплов отказался вести наш семинар, а к этому времени наши контакты с Петром Алексеевичем уже сложились, окрепли как-то, то, естественно, мы пришли к нему и попросили

возглавить наш семинар.

Он подумал и сказал, что с радостью принимает предложение и что только надо придумать семинару название. И где-то в феврале или в первых числах марта 1958 года мы сотворили это название - Комиссия по психологии мышления и логике, и с марта 1958 года Комиссия начала свою работу. Комиссия объединяла целый ряд - ныне ведущих и известных - психологов, логиков, методологов. Она собиралась обычно в малой аудитории, или в Малом практикуме, как это тогда называлось, на втором этаже. Петр Алексеевич всегда сидел не за большим столом на возвышении, а за столом внизу. Он не пропускал ни одного заседания Комиссии в начальный период ее работы, пока был здоров, - где-то до 1964 года, т.е. первые шесть лет. Считал это своей первейшей обязанностью. Несколько раз он приходил на заседания Комиссии в плохом самочувствии, причем однажды, когда я его спросил, зачем он это делает, сказал, что боится пропустить заседание, поскольку может "вывалиться" из контекста и тогда хуже будет понимать, что здесь происходит. Часто он говорил, что чувствует себя молодым и ему кажется, что он оплачивает свой долг перед Георгием Ивановичем Челпановым. И однажды, я помню, он так разволновался, что подошел ко мне, пожал руку и сказал: "Вы знаете, Вы говорите, почти как Георгий Иванович". И я понял, что старик сказал нечто самое сокровенное... И отношу его слова не к своей манере речи, а привожу их как пример его отношения к его молодости, к прошлому, к Челпанову, к Комиссии и ко всему тому, что происходило на ней в те годы.

Конечно, он никогда не выходил за пределы тех представлений, которые сформировались у него в период его работы с Челпановым, т.е. он по-прежнему жил в представлениях, что, скажем, психологическое отличается от логического тем, что оно фиксирует причинные связи и зависимости в течении мысли, в то время как логика этого не фиксирует. Но в отличие от других видных психологов он всегда понимал то, что происходило на обсуждениях, его суждения всегда были очень точными и схватывали существо дела.

На всем протяжении первого периода работы Комиссии он сохранял способность, возможность, умение держать в своем сознании довольно сложную проблематику и ходы дискуссии. И даже когда дискуссии приобретали несколько сумбурный и очень острый характер, когда происходили очень резкие столкновения мнений и мне иногда начинало казаться, что очень трудно ухватить существо этих расхождений и что он потерял ориентацию в развертывании мысли, потом всегда оказывалось, что я не прав и что он по-прежнему удерживает это понимание. Он был одним из немногих психологов Института, которые и в очень преклонном возрасте продолжали жить развертывающимся содержанием мысли и обсуждать подлинно научные проблемы. Его исключительная доброжелательность к самым разным чужим точкам зрения, его постоянное сочувствие новым идеям, его широта были теми качествами, которые во многом определили успешную работу Комиссии в те годы.

Чуть-чуть позже начала работы Комиссии в моей собственной жизни тоже произошла большая перемена. В апреле 1958 года я ушел из школы, где проработал уже семь лет, и поступил редактором в издательство Академии педагогических наук РСФСР, в редакцию Педагогического словаря - вести раздел психологии.

Я уже упоминал, что там начал работать в качестве издательского редактора "Докладов АПН"

Василий Давыдов, потом он перетащил туда - из экскурсоводов - Якова Пономарева, потом Матюшкина, а затем и меня. Яков Пономарев месяц или два просидел в редакции педагогического словаря и ушел в книжную редакцию. Готовились к изданию многие работы - Леонтьева, Рубинштейна и других - и, собственно, Давыдов, Матюшкин, Пономарев и были теми, кто приводил в порядок и издавал в то время эти работы, а иногда и приписывал именитым авторам некоторые из своих мыслей.

Я начал работу в качестве редактора Педагогического словаря по разделу психологии. И когда Яков Александрович вводил меня в новое хозяйство, он сказал: "Вот тебе огромное количество статей, они на 90% совершенно бессмысленны, редактировать их бесполезно - там нечего редактировать. И поэтому если ты перепишешь их все по-новому, то таким образом освоишь психологию".

Надо сказать, что это были пророческие слова.

- Это синий двухтомник?

Да. Надо сказать, что я там никак не фигурирую, поскольку заведующий редакцией Кантор потом, когда я ушел сначала в книжную редакцию, а затем в Институт дошкольного воспитания, в знак своего плохого отношения ко мне вырубил мою фамилию. Хотя примерно с десятка статей просто написаны мною, и мне за это заплатили, а все остальные статьи раздела "Психология" практически были переписаны мною.

- Вы можете вспомнить некоторые из ваших статей?

Да, могу. Например, статья "Лев Семенович Выготский"...

Когда меня брали на работу, то предупредили: "Работа над словарем длится пять лет, состояние ужасающее, все деньги, выделенные на написание статей, истрачены, поэтому заказывать новые статьи взамен написанных уже нельзя. Все, чем вы владеете, это редакторские деньги. Поэтому рассчитывайте в основном на себя. Срок - четыре месяца".

Я занимался словарем немножко больше года. Столкнулся с огромным количеством людей, числящихся авторами статей - галерея их прошла передо мной. Расскажу только о некоторых смешных эпизодах.

Первое столкновение у меня было с Николаем Ивановичем Жинкиным. История и судьба Н.И.Жинкина, одного из создателей психолингвистики в нашей стране, принадлежавшего к старшему поколению психологов, очень интересны. Он несколько лет уже занимался психологическим разделом словаря. При первой нашей встрече он мне пожаловался, что никак не может удержать в голове всей этой массы статей. Я, говорит, занимался какими-то отдельными разделами психологии, а тут на меня свалилась вся психология в целом, и я не знаю, что с ней делать. Я спросил:

- Николай Иванович, а зачем Вы за это взялись?

- Как взялся? Меня просто вызвали к директору, протянули толстый том и сказали: ты теперь за него будешь отвечать. И меня никто не спрашивал, хочу я взяться или нет.

И вот представьте себе его положение, когда перед ним появился молодой человек (причем, через

некоторое время он выяснил, что даже не психолог по образованию), который очень свободно оперировал всеми психологическими понятиями. Надо сказать, что я находился в том возрасте, когда все кажется очень простым, ясным, четким, и готов был написать заново всю психологию - не только педсловарь, но и все учебники заодно. Это был очень наивный и смешной период - такого рационалистического подхода ко всему в жизни, когда по всем вопросам имеются определенные мнения, и молодой человек считает, что они правильные.

Николай Иванович Жинкин смотрел, смотрел на меня с большим удивлением и однажды сказал:

- Знаете, Вы - восьмое чудо света.

- Почему?

- Вы так все переделываете и кромсаете, что со второго раза совершенно очевидно становится, что вы никакого отношения не имеете к психологической культуре.

Надо сказать, подмечено это им было совершенно точно: я не имел никакого отношения к психологической культуре и смотрел на нее с точки зрения здравого смысла. Кстати, именно работа над педагогическим словарем еще раз укрепила меня в твердом убеждении, что очень часто точка зрения здравого смысла является правильной: она намного разумнее, чем любая научная позиция.

Примерно месяца через четыре, когда я уже вошел в курс всего этого дела, освоился, неожиданно созвали совещание при главном редакторе, а им был президент АПН РСФСР Иван Андреевич Каиров. Реально руководил, конечно, не он, а его заместитель Гончаров. Собрали совещание всех ответственных редакторов, издательских редакторов, редакторов разделов и попросили меня доложить о состоянии работы по моему разделу. Правда, я вел к тому времени уже не только раздел психологии, но и еще, по-моему, два раздела (разделы нравственности и общей педагогики) - это потом их у меня постепенно отбирали, когда дело подошло уже к концу, - так что, фактически, мне пришлось докладывать по трем большим разделам. Присутствовали все ведущие деятели тогдашней Академии педнаук во главе с Королевым, который не так давно вернулся из отсидки и еще, по-моему, даже не был главным редактором издательства "Советская педагогика", только шел к этому, может быть, он даже еще не был и доктором. Все нынешние деятели, академики, такие как, например, Пискунов (все они тогда только-только продвигались), подрабатывали в этом педагогическом словаре, вели какие-то разделы.

Я сделал обзор - как теперь понимаю, просто сопоставил все статьи, построил сетку взаимных отсылок и начал раскладывать пасьянс из статей по отсылкам. Благодаря этой очень простой процедуре удалось обнаружить невероятное количество ошибок, несуразностей, противоречий. На совещании я вывесил заранее нарисованную сетку, показал, как и что, показал, что где говорится в статьях со ссылками друг на друга. Когда я читал первые статьи, то иногда раздавались взрывы хохота. Но, по мере того как я рассказывал и читал, становилось все тише и тише, и наконец установилась гробовая тишина. Я чувствовал, что она становится тяжелее, тяжелее, тяжелее, и вот, когда я кончил, встает Королев и говорит:

- Так Вы что хотите сказать? Что у нас вместо советской педагогики один сундук, абсолютная путаница?



- Нет, я только доложил Вам, как приказано, состояние раздела.

И тут Анатолий Александрович Смирнов сказал, обращаясь к нему:

- Иван Филиппович, давайте не будем трогать редактора, давайте лучше будем думать, что нам делать.

Он так взял меня за плечи, посадил рядом с собой, положил мне руку на коленку и тихо-тихо, наклонившись, сказал:

- Вы только не рыпайтесь, Вы уже свое дело сделали и сидите тихо.

Наступило молчание. А потом Королев сказал:

- Он натворил - пусть и решает, что делать. Свяжем его с редакторами разделов, и пусть он с ними по своей табличке все и отрабатывает.

Так они и постановили, и на этом совещание закончилось.

Смирнов отвел меня в сторону и сказал:

- Батенька, откуда Вы такой взялись?

- В каком смысле, Анатолий Александрович?

- Так же вообще костей не соберешь. Если Вы так и дальше будете вести себя в нашей Академии, то Вам скоро каюк. Приходите ко мне, мы спокойно посидим, подумаем, что и как. Никогда не надо быть ни особенно глупее своего времени, ни особенно умнее. И знаете что? Пустите дело на самотек.

Я его поблагодарил за защиту, и мы расстались.

Вот с этого момента начинаются, правда, не очень долгие, до 1964 года, контакты с А.А.Смирновым, тогдашним директором Института психологии. Петр Алексеевич Шеварев был его сподвижником, можно сказать, его человеком, поскольку они как ученики Челпанова вместе в знак протеста ушли в 1923 году, вместе возвращались в Институт. Сначала Анатолий Александрович Смирнов работал заместителем при Рубинштейне, а потом, в 1948 году, когда Рубинштейна сместили в порядке борьбы с космополитизмом, стал директором Института психологии и затем действительным членом Академии.

Поскольку Петр Алексеевич Шеварев давал мне время от времени лестные характеристики, то Смирнов проникался все большим и большим доверием ко мне и даже в какой-то мере позволял себе со мной известную откровенность. Причем, чем больше я с ним общался, тем свободнее чувствовал себя в разговорах с ним - так что он даже прощал мне кое-какие вольности. И вот однажды, примерно года через полтора, я довольно нахально задаю ему такой вопрос:

- Анатолий Александрович, каждую статью, которая к Вам попадает, Вы редактируете, убирая все интересное, все смелые мысли и оставляете только то, что и так всем давно известно. Как же так?

- Георгий Петрович, миленький, - ответил он, - когда Вы станете таким старым, как я, Вы будете

знать, что главный смысл всякой жизни все-таки не в развитии, а в порядке. Если не будет порядка, то не будет и никакого развития. А если будет порядок, то и развитие - маленькое, осторожное - всегда будет происходить. Вы вот все время рассуждаете очень абстрактно и говорите: вот это, это и это должно развиваться. И Вы можете так рассуждать, но я, будучи руководителем советской психологии, так рассуждать не имею права. Я должен следить прежде всего за тем, чтобы в мире психологии всегда существовало равновесие. Вы небось думаете: вот какие интересные исследования идут там у Даниила Борисовича Эльконина, важные для советской школы, и надо бы поэтому дать ему пять-шесть-восемь ставок. И я тоже так думаю. Но представьте себе, что я дам эти ставки под предлогом развития науки. Так вы что думаете, Даниил Борисович науку с их помощью будет развивать? Он использует эти ставки для того, чтобы давить на своих соседей и не дать им вообще работать. И если я где-то позволю неоправданный прирост какого-то подразделения, то в результате тут начнется такая склока и такая война, что никакой психологии и никакого содержания вообще уже не останется. Ну выкинул острые мысли. Подумаешь! Дело не в мыслях. Мне ведь приходится управлять всей психологией и следить за тем, чтобы она оставалась живой и целой. И я твердо знаю свое предназначение и функции.

Он был на удивление рассудителен, улыбчив, спокоен, вежлив. Я никогда не видел его в безудержном состоянии, кроме, правда, одного случая.

Когда мы уже сделали полный макет Педагогического словаря - а делался сначала макет, потому что это было дело невероятно ответственное, политически значимое и т.д., - то отправили его членам главной редколлегии, в том числе президенту Академии педагогических наук Ивану Андреевичу Каирову. Через какое-то время, кажется через месяц, макет вернулся с пометками президента, и заведующий редакцией Кантор вызвал меня к себе и сказал: "Ознакомьтесь и доложите".

В макет был заложен целый ряд листочков с президентскими замечаниями. Я начал смотреть закладки. Первая закладка была на статью "Брока центр", вторая - на статью "Вернике центр". На полях статьи "Вернике центр" было написано: "См. "Брока центр": центр должен быть один, когда где-то возникает много центров, то от этого бывает только беспорядок. Необходимо все это поправить". Следующая закладка была на статью "Временная связь". На полях было написано: "Конечно, и в нашем социалистическом обществе встречаются иногда временные связи, но это дело преходящее, наследие буржуазного общества. Поэтому думаю, что давать специальное слово на эту тему не нужно". И еще десяток аналогичных замечаний, после чего президент не выдержал и дальше уже читать не стал.

Я позвонил Анатолию Александровичу Смирнову и сказал: "Анатолий Александрович, пришли замечания президента, разрешите, я вам зачитаю по телефону". Начал читать. Когда прочел про "временные связи", то услышал из телефонной трубки семиэтажный мат. Но это был единственный подобный случай. Он повесил трубку, а я пошел на свое место. Минут через десять меня зовут к телефону. Анатолий Александрович говорит:

- Георгий Петрович, извините ради Бога, я не выдержал. Давайте думать, что нам со всем этим делать.

- Давайте, Анатолий Александрович.

- Вы знаете, мне в голову пришла идея. По-моему, там, на "временная связь", надо написать в скобках "в психологии": временные связи (в психологии). Как Вы на это смотрите?

- Смешно, Анатолий Александрович, но, может быть, это и разумно.

- Давайте так сделаем.

Когда Вы придете домой, откройте Педагогический словарь, посмотрите, пожалуйста, остались эти слова или нет. Вот такой у нас был президент. Надо, однако, сказать, к его чести, что, когда началась борьба против космополитов, первая волна, за ней вторая, он хоть и выходил каждый раз и произносил очередную разгромную речь на всю Академию, где клеймил космополитов, говорил, что страна и партия не потерпят и т.д., но, как мне рассказывали, когда начальник отдела кадров после его первой речи принес ему длинный список евреев, которых надо было уволить, он взял этот список и сказал: "Я просил Вас мне этот списочек готовить? Нет? Так чего же Вы самодеятельностью занимаетесь? С такой самодеятельностью можно ведь и без работы в два счета остаться". На том все и закончилось.

Я слушал несколько раз его выступления - это всегда был верх артистизма. Например, выступление по поводу одной из речей Никиты Сергеевича Хрущева на общем партийном собрании сотрудников Академии педагогических наук. Начал он так: "Прочел я выступление Никиты Сергеевича и подумал: как же так, что он за специалист? Горняк дает указания животноводам и колхозникам, как им коров выращивать и кукурузу растить? Вот что думал я, читая выступление нашего уважаемого вождя. Но вдумался, пошел узнавать, что считают специалисты, и выяснил к своему, товарищи, нужно сказать, удивлению, что все это базируется на самых последних достижениях агронауки и животноводства...".

Вот такого рода были ходы. Когда он начал говорить, то собрание постепенно затихло. У меня было такое ощущение, что все спрашивали друг друга: а что Хрущева уже сняли?

А один раз я беседовал с ним непосредственно. Когда стали готовить такую красную толстенную книгу "Система народного образования в СССР за 40 лет" (или что-то в этом роде), то вызвали меня, поскольку в то время я уже числился очень хорошим и деловым редактором, умеющим вылезать из очень трудных ситуаций, и попросили привести ее в порядок. Начиналась она речью президента на заседании Верховного Совета СССР. Я выпросил себе два месяца пребывания на даче (дело было летом) и подрядился этот том - листов, наверное, на 50 - сделать.

Начал я редактировать тексты и вижу, что речь президента ни в какие ворота не лезет, там даже не согласованы падежи и прочее. Я понял, что это стенограмма: как записали стенографистки, так она и опубликована. Поинтересовался - где. Выяснилось, что в "Известиях Верховного Совета СССР". Я начал как-то сводить концы с концами и мысли с мыслями - получалась очень мощная правка. Пришел к директору издательства и говорю: так-то и так-то, вот такая вещь.

- Георгий Петрович, не за свое дело Вы взялись - это же президент, и все официально издано.

- Ну как хотите, как прикажете. Если со всеми этими несуразностями издавать, то на что Вы мне вообще два месяца даете? Надо все просто сброшюровать и издать, тем более что там в основном опубликованные материалы. Если же Вы хотите что-то делать, то надо делать. Иначе смеяться будут.

- Я на себя это не возьму. Если хотите, идите к президенту.

Я попросил аудиенции и был принят президентом. Начал ему показывать. Он сидит, я рядом с ним. Читаю то, сё. Он сидит и молчит. Я ему опять читаю - одно место, другое, третье. Спрашиваю каждый раз:

- Как быть?

Он молчит. Потом так это на меня поглядел и спрашивает:

- А чего Вы добиваетесь?

- Что значит "добиваюсь"? Я спрашиваю: что же тут делать?

- А Вы кем работаете? Старшим научным редактором? Не по компетенции - зря Вас на это место посадили. Мне сам Никита Сергеевич руку жал за этот доклад, а Вы тут приходите и демонстрируете мне, что я малограмотный. Как же быть нам? Кто прав - Вы или Никита Сергеевич?

- Конечно, Никита Сергеевич! Какие могут быть разговоры. Значит, я Вас так понимаю, что оставить надо как есть?

- Нет, Вы меня неправильно понимаете. Надо все, что Вы нашли, поправить.

- А как же сделать?

- Как Вы сочтете нужным.

- А если я Вам припишу что-нибудь не то?

- А какая разница? Все равно ни один человек в мире читать не будет.

- Простите, я понял. Вы у меня с души камень сняли.

- А сами Вы что? Не могли снять его с себя?

- Так я могу сказать, что получил Ваши санкции на все необходимые исправления?

- Конечно. Но это Вы будете отвечать за то, что там будет, а не я. Я отвечал за свою речь на Верховном Совете. Я справился. А за все то, что будут писать англичане, американцы, - будете отвечать Вы. Вам за это деньги платят. И если там будет что-нибудь не так, с Вас голову снимут.

- Спасибо. - сказал я и ушел - очень довольный президентом.

Оказывается, успехи мои на издательском поприще были столь велики, что неожиданно для себя, примерно так через год работы, я вдруг получил приглашение работать на полставки редактором журнала "Вопросы психологии". И чтобы меня проверить, мне дали три статьи, которые считались выше всяческого разумения. Это были, если память мне не изменяет, статья Ляпунова и Шестопал по поводу алгоритмов, статья Бобневой по поводу понятия информации в психологии и статья Леонтьева и Кринчик. Когда мне их принесли, то сказали, что их никто редактировать не может и что, собственно, меня взяли в редакцию общей и теоретической психологии для редактирования именно

таких статей.

Я был счастлив. Как раз только что родился Петя, жил он в Горьком, и к моим 180 рублям, которые я получал как старший научный редактор, еще 70 рублей полставки были очень кстати. Я вообще думал в то время, что богаче меня и счастливее человека нет. Жил я на Малом Могильцевском, и образ жизни у меня тогда был замечательный. Утром, встав, я шел в Смоленский гастроном и там, в кафетерии, выпивал чашку кофе, съедал три бутерброда, возвращался домой - это была одновременно прогулка- и садился работать. Потом шел в этот же кафетерий обедать, а вечером ужинал дома, с мясом. Я покупал в "Диетическом" в Плотниковом переулке ростбиф. Шикарный такой ростбиф. Вы, наверное, никогда такого ростбифа не видели и уже не увидите. Или покупал шикарные отбивные или ромштексы и жарил их на кухне. Вот так жил.

Итак, первой была статья Бобневой, с которой я помучился, придавая ей какую-то осмысленность. Но в общем-то работа была очень удачной, и я потом начал с удивлением замечать, что люди в Институте психологии, которые раньше меня не знали, не замечали, стали со мной здороваться. Это было удивительно: я их не знаю, а они со мной здороваются. А потом узнал, что меня в это время очень полюбил Борис Михайлович Теплов. Он там у себя на лаборатории рассказывал, как я замечательно редактирую статьи и понимаю самые непонятные вещи - вот Леонтьева отредактировал так, что тому очень понравилось, Ляпунова отредактировал и даже с Бобневой справился. <...>

Теплов даже обсуждал вопрос: не пригласить ли меня к себе в лабораторию сотрудником. Я потом с большим удивлением узнал, что единственный человек, который твердо сказал "нет", был мой приятель - Небылицын. Он сказал, что либо он, либо я - одно из двух, и поэтому вопрос отпал. Но Теплов сохранил очень хорошее и теплое, немножко отеческое отношение ко мне и очень любил, приходя к нам в редакцию, разговаривать со мной на разные темы. Тогда мне часто приходилось беседовать одновременно с Анатолием Александровичем Смирновым и Борисом Михайловичем Тепловым.

Итак, вроде бы дело шло к тому, чтобы меня взяли в Институт психологии - не в одно, так в другое место. Тогда ответственным секретарем журнала "Вопросы психологии" был Михаил Васильевич Соколов. Он занимался историей психологии и заведовал сектором истории психологии (после смерти Соколова сектор ликвидировали). Соколов вел со мной переговоры: может быть, мне перейти к нему и заняться историей психологии - как я на это бы посмотрел?

И, наверное, меня бы взяли, если бы не моя собственная дурость. Дурость есть дурость - она и проявляется одинаково. Все неприятности начались с одной статьи, которую я непосредственно получил от Бориса Михайловича Теплова. Он сказал: "К Вам, Георгий Петрович, просьба: вот Вам трудная статья, но я надеюсь, что Вы с ней справитесь и все будет в порядке, хотя и понимаю трудности, которые у Вас возникнут. Но это надо сделать". Как я потом выяснил, статья принадлежала одной из аспиранток Бориса Герасимовича Ананьева - главы ленинградской школы психологии, как Вы теперь знаете. Жаль, что я тогда не придавал этому значения и не запомнил ее фамилию, - может быть, сейчас она один из ведущих докторов Ленинградского университета.

Когда я прочел статью, у меня глаза на лоб полезли, т.е. такой несурезицы я еще в жизни своей не встречал. Я пришел к Теплову и сказал:

- Борис Михайлович, абсолютно нечего редактировать, это все абсолютная бессмыслица, и статью надо отправить назад.

- Георгий Петрович, миленький, нельзя отправить назад. Вы возьмите "дело" и познакомьтесь с ним, прочитайте.

Я взял "дело" и увидел, что там лежит записочка: "Глубокоуважаемый Борис Михайлович! Очень прошу Вас возможно быстрее опубликовать статью моей аспирантки. Ей скоро защищаться, и статья должна успеть ко времени. С уважением, Ананьев".

Я говорю:

- Борис Михайлович, ну и что?! Что здесь публиковать?! Ведь нас на английский переводить начали (а тогда шел первый год, как начали переводить журнал "Вопросы психологии" в Англии - но надо сказать, что они недолго переводили, года полтора, а потом прекратили). Англичане будут читать весь этот бред?! Ведь чтобы я там ни делал, бред останется бредом. Поэтому я думаю, что нам не надо позориться, а лучше отошлем статью назад, и дело с концом. А я с удовольствием напишу на нее соответствующую рецензию, позволяющую ее отправить.

- Да, Вы можете написать на нее рецензию, но писать такую рецензию не нужно, а нужно опубликовать статью. А так как Вы совершенно справедливо говорите, что это абсолютнейшая чепуха и ерунда, то я Вас прошу сделать так, чтобы этого не было видно, во всяком случае - на первый взгляд.

- Борис Михайлович, зачем же это делать?

- Как зачем? Вы же читали "дело" - ведь Борис Герасимович просит меня ее скорее опубликовать.

- А как же наука?

- Вы, Георгий Петрович, как маленький. Наука, наука! Что наука? Ну, давайте про науку, ладно. Ведь представьте себе: если я не опубликую этой статьи, то Борис Герасимович на меня обидится. А если Борис Герасимович на меня обидится, то в советской психологии такое начнется, что уже ни о какой науке речи не может быть. Он будет заворачивать все мои статьи, всех моих аспирантов, всех учеников. Я вынужден буду ему отвечать. Он будет писать фельетоны - я буду отвечать контрфельетонами. Где же нам будет наукой-то заниматься?!

Тогда я был не в том возрасте, чтобы понимать глубокий социально-политический смысл всех этих слов, я был ригорист, все мне казалось черно-белым. И поэтому я весьма грубо ответил Борису Михайловичу:

- Вы можете, конечно, строить свои отношения с Борисом Герасимовичем таким образом, в том числе и за счет журнала "Вопросы психологии", но меня от этого, пожалуйста, увольте. Я эту статью редактировать не буду.

Чем, собственно, лишил себя любви Бориса Михайловича Теплова, 70 рублей добавки к основной зарплате и возможности поступить в Институт психологии - о чем и по сегодняшний день сожалею.

Существующее положение еще больше, с одной стороны, усугубилось, а с другой - облегчилось, благодаря вскоре последовавшим событиям. Но тут я должен немного вернуться назад.

Издательство тогда находилось на Погодинке, в школьном здании и занимало верхний, четвертый, этаж, где раньше располагался актовый зал школы, и сотрудники редакционных отделов в основном, или во всяком случае значительная их часть, сидели в одном большом актовом зале. Четыре длинных ряда столов, где и сидели все редакторы. Вообще, это было очень красивое зрелище, в особенности когда возвращались с обеда и, положив голову на стол, устраивали мертвый час. Вход был в самом углу, там же на возвышении стоял рояль, как это обычно бывает в школе. С приходящими авторами мы беседовали на этом возвышении за роялем.

Давыдов - он был заведующим редакцией "Докладов АПН" - сидел в маленькой комнатке, рядом с туалетом (тут же сидели Пономарев, Матюшкин). При нем младшим редактором состояла Тамара Меклер, она же Волкова, и они вместе и вершили все дела, всю науку - в издании "Докладов АПН". И вот поскольку все и вся здесь было на виду, то вскоре, к своему большому удивлению, я понял, что не только враги Выготского, но и в первую очередь его ближайšie ученики делают все от них зависящее, чтобы его труды не вышли.

Первоначально мне это казалось странным и удивительным. И первые полгода я, по-видимому, очень веселил власть имущих ученых своей наивностью. Я ходил и говорил:

- Александр Романович, у Вас такие лаборатории, у Вас столько людей - Вы же можете посадить одного человека на подготовку рукописей Выготского. Вы - председатель редакционно-издательского совета. Вы проводите столько Ваших книг через это издательство. Не проходит года, чтобы что-то не вышло. Вы же точно так же можете опубликовать том сочинений Выготского. Если Вы этого не можете, давайте я его поставлю в редакционно-издательский план. Я пойду к директору издательства, и мы включим его в план, как я это делал с другими работами. Это же так просто, это ничего не стоит.

На что следовал ответ:

- Нет ставок. Существующие ставки - это для живой, настоящей исследовательской работы. Мы не можем себе позволить выделять какую-нибудь ставку для человека, который будет разбирать архивы.

- Ну ладно, Вы не можете. Давайте я это сделаю в свободное от работы время, просто так.

- Нет, Георгий Петрович, это невозможно, поскольку мы не можем допустить, чтобы Ваш труд не оплачивался.

-Ну пусть это сделает семья - вот Тита Львовна, она готова заняться архивом...

То же самое я говорил Алексею Николаевичу Леонтьеву:

- Алексей Николаевич, у Вас отделение, там масса людей. Посадите одного младшего научного сотрудника.

Алексей Николаевич отвечал мне более витиевато:

- Все нужно ко времени, Георгий Петрович. А кто может поручиться, что это время уже наступило?

Это было между 1956 и 1959 годами. Вы знаете, что в конце 1956 года вышел первый том, сделанный трудами семьи Выготского. И это было сделано вопреки желанию его учеников! Надо, правда, отдать должное Запорожцу, который во многом помог.

Я хочу отметить, что Александр Владимирович Запорожец, насколько я понимаю, был единственным, кто пытался что-то сделать. Но он был повязан совершенно намертво своими групповыми связями и поэтому не мог предпринять никаких реальных шагов - и если помогал, то только скрытно.

Когда же, опять-таки усилиями семьи и благодаря самодеятельности Матюшкина, в 1959 году был подготовлен второй том, то это совпало с попыткой снова "закрыть" Выготского и одновременно нанести удар выготскианцам, или леонтьевцам, которые к тому времени становились все сильнее и сильнее.

Вопрос о том, почему, собственно, ученики Выготского тормозили издание его трудов, следует обсуждать особо.

Вот я сейчас, глядя на всю эту 25-летнюю историю, утверждаю, что издать его пятитомник или семитомник в то время, в 50-е и 60-е годы, было очень легко. Никаких трудностей в реальной подготовке, никаких трудностей в издании не было. Это, конечно, потребовало бы определенной борьбы. Может быть, я чего-то здесь не понимаю, но вот история, которую я вам расскажу дальше, показывает, что борьба-то была фактически пустяковой и усилия для победы требовались очень маленькие.

Итак, был подготовлен второй том. Интересным и значительным событием было то, что предисловие к нему написали два человека - Леонтьев и Теплов. Я не знаю, почему Леонтьеву в тот период понадобилось привлечь Теплова. Ходили слухи, что у Теплова была тогда очень сильная рука в ЦК, что он был туда вхож и что в основном его там и слушали. Может быть, действительно боялись ЦК, поскольку реакция не всегда была предсказуема, и поэтому боялись издавать Выготского, но насколько это все были призраки и мифы, которыми все кормили друг друга, показывает дальнейшая история.

Я узнал, что в Институте психологии на расширенном заседании редколлегии журнала "Вопросы психологии" (редактором которого был Теплов) будет обсуждаться второй том сочинений Выготского. Меня тогда вывели из редакторов "Вопросов психологии", и я работал, как упоминал, в издательстве "Педагогика", только в то время уже не в Педагогическом словаре, а в книжной редакции - над томом сочинений Блонского.

Первое заседание проходило в Большой психологической аудитории, и вся она была набита сверху донизу. Заседанию предшествовали длительные обсуждения в партийном бюро, как я выяснил уже потом. Ходили постоянно какие-то слухи, партийная организация к чему-то готовилась, а секретарем тогда была страшная женщина из 30-х годов. Вообще, как я уже говорил, это было время, когда хозяином, управляющим психологией был Анатолий Александрович Смирнов, а хозяином Института психологии Борис Михайлович Теплов, поэтому все остальные фактически были подставными



фигурами, куклами, которых дергали за ниточки. Позиции Леонтьева, Запорожца, Лурии, Эльконина были в то время в Институте достаточно слабыми.

Был тут Марк Константинович Гуревич, член бюро, сейчас доживающий свои дни заведующим одной из лабораторий в Институте. Состоял на партучете пенсионер, сотрудник института в 30-е годы, некто \*.\*. Тот самый, который прославился как участник травли Выготского в 30-е годы: он написал какую-то жалкую, клеветническую статью про него.

И вот партийное бюро поручает доклад о творчестве Выготского и о втором томе именно ему. Причем опять же, как я теперь понимаю, это был специально подготовленный спектакль, поскольку весь институт, вся психологическая общественность знали, что и как будет происходить.

На это заседание мы пришли втроем - Зинченко, Давыдов и я. Надо сказать, что и совместная работа в издательстве, и вообще весь наш тогдашний быт очень тесно нас связывали. Мы тогда очень дружно жили...

Естественно, что и на этом совещании мы сели вместе - точно посередине, где-то над и чуть правее проекторной ниши. Это было наше излюбленное место, там мы и уселись все трое, стиснутые с разных сторон.

За большим столом на возвышении разместился президиум. Теплов сидел на своем любимом месте - в первом ряду слева, справа от него через одного - Смирнов. Это было расширенное партийное заседание. Так это обсуждение и называлось: "Расширенное партийное собрание редколлегии журнала "Вопросы психологии" и Института психологии".

И вот \*.\* делает свой доклад: вот был Выготский, вот была культурно-историческая концепция... Он говорит о том, как уже потом, в 30-40-е годы, критиковалась культурно-историческая концепция, как она была объявлена немарксистской, затем переходит к педологии и педологическим работам Выготского, рассказывает о постановлении партии и правительства; потом возвращается к книге "Мышление и речь" и говорит, что эта книжка вызывала постоянную критику, ибо она была по сути своей антимарксистской, так как Выготский отрицал ленинскую теорию отражения.

В общем, весь его доклад был в духе и по рецепту 30-х годов: одна параллель, другая параллель, одно постановление, другое постановление... Атмосфера сгущается и наступает, как это принято говорить в плохой журналистике, гробовая тишина.

А \*.\* завелся, он уже синего цвета и в качестве кульминации, с пафосом, очень громко бросает в зал, как бомбу:

- Поскольку Выготский отрицал ленинскую теорию отражения...

Вижу я, что дело идет черт знает куда, - и вот, когда он это сказал, я заорал на весь зал:

- Клевета!

Причем так же резко и с таким же пафосом.

Наступила тишина. \*.\* еще больше посинел и повторил:

- Поскольку Выготский отрицал ленинскую теорию отражения..., - затем еще немножко посинел и снова повторил:

- Поскольку Выготский отрицал ленинскую теорию..., - и начал заваливаться назад. Медленно.

К нему подскочили, а он все синее, глаза у него закрываются, и он падает назад и теряет сознание. Переполох в президиуме, переполох в зале, все вокруг орут, шумят, крики, то да се, кто-то побежал за "скорой помощью", народ встает - надо выносить человека.

Я сижу и думаю: снова убил человека, вот же мало мне Трахтенберга - тут еще и про этого будут говорить... фу ты, черт, до чего противно. Народ снует туда, сюда. Наконец, его выносят. Я занят своими мыслями, а надо было бы, конечно, понаблюдать, что там делают Теплов со Смирновым, как они все суетятся.... Тут секретарь партийной организации объявляет, что в связи со случившимся заседание откладывается и переносится на неопределенный срок. Народ выходит, и на этом первый акт пьесы закончен.

Прибегает дня через три Зинченко и говорит, что заседает партбюро, ведут следствие - кто кричал? Знают, что кричал кто-то из нас троих, но кто конкретно толком не знают. Одни говорят, что это Щедровицкий кричал, другие говорят, что Зинченко, а третьи, что Давыдов крикнул. Мнения разошлись, а спросить в лоб они не могут, вот и будут выяснять, как и что...

Проходит какое-то время, недели две, суета продолжается, но вот появляется объявление, что будет продолжение заседания - но уже в Малом зале. Присутствовать могут только сотрудники Института, да и то только члены партии, так как вход по партийным билетам, и ответственные работники министерства - и никаких пришлых.

Приходит опять Зинченко и сообщает, что будут искать виновных. \*. \* более-менее оправился, но так как язык у него немножко заплетается, то продолжать доклад он не может, и поэтому, хотя доклад считается в основной своей части состоявшимся, ищут, кто бы мог выступить... Но никто не хочет, все повисло в воздухе...

Я взвесил всю эту ситуацию и решил, что надо переходить в наступление. Когда все собрались, написал записку в президиум.

- А Вы к этому времени были уже членом партии?

Да, с 1956 года.

Я написал записку, что прошу дать мне слово для разъяснений в связи с моей репликой.

Пока записка путешествовала, встает секретарь партбюро и говорит: "Товарищи, у нас на Ученом заседании произошло такое нехорошее событие, кто-то позволил себе реплику - неакадемическую, ненаучную, - в результате чего у тов. \*. \* случился гипертонический криз. И вот старый заслуженный пенсионер, имеющий персональную партийную пенсию, вынужден был десять дней пролежать в больнице, и мы сейчас...". В этот момент записка дошла до президиума, Гуревич ее раскрыл и протянул секретарю. Она говорит: "Вот мы хотели узнать - кто, а тут уже все выяснилось". Они начинают между собой совещаться: что и как. Она продолжает: "Выяснилось, что это кричал тов.

Щедровицкий". Я тогда встаю и иду по направлению к президиуму. Причем там не знают, то ли давать мне слово, то ли нет и вообще что делать, потому что в принципе не могут даже на два шага вперед просчитать ситуацию.

Я вышел и говорю:

- Хочу продолжить свою реплику. Я считаю, что партийное бюро института допустило принципиальную политическую ошибку, во-первых, доверив это выступление тов. \*.\* , человеку далекому от современной науки, не работающему в институте, пенсионеру. Если партбюро института слушало тезисы доклада \*.\* и одобрило их, то все партийное бюро несет ответственность за эту политическую ошибку. Я считаю, что мы должны спросить с них за это и подвергнуть их действия принципиальному партийному разбору. Кроме того, хочу собравшихся здесь предупредить, что напишу соответствующее заявление в райком партии, буду просить, чтобы там тщательнейшим образом разобрались со всем тем, что здесь происходит, поскольку сейчас является принципиально неверным противопоставлять крупнейшего советского психолога, создателя большой школы, имеющего много учеников, Ленину, ленинской теории отражения. И те, кто это утверждает, явно не знакомы с работами Льва Семеновича Выготского, совершенно их себе не представляют, поскольку Выготский был проводником марксистской идеологии, марксистской методологии. Мы сейчас очень хорошо понимаем, что в 30-е годы господствовали реактология, механицизм и меньшевистствующий идеализм. Суждения тех лет были во многом неверны, партия решила эти вопросы, и поэтому сама манера доклада явно не соответствует нашему времени и является вредной. Я уже сказал в тот раз, что это клевета, и повторю еще раз: это прямая, открытая клевета. И поэтому считаю, что, во-первых, сам \*.\* должен понести за нее наказание, а во-вторых, должны понести наказание все организаторы обсуждения, члены партбюро, которые или одобрили доклад, или не смогли его предотвратить.

Тут этот дурачок \*.\* говорит:

- Ну как же так? Это же было! Мы сидели в Большой аудитории, в той, где в прошлый раз. Выготский делал доклад. Я его сам не стал спрашивать, а подговорил Травкина: "Травкин, спроси его, как он относится к ленинской теории отражения". Мне самому было неудобно, поскольку я противник, а Травкин вроде бы нейтральный человек. Травкин встал и спрашивает: "Как вы относитесь к ленинской теории отражения?" А Выготский отвечает: "Да отстаньте вы от меня с вашей теорией отражения, я ее не знаю и знать не хочу". Вот прямо так и ответил, это же все правда, а Вы говорите, что клевета. Я рассказываю, как было дело поистине, а Вы мне кричите "клевета", - и он начинает опять заходиться, - а Вы мне кричите "клевета"... Так как же вообще быть, если это было все и он сказал: "Не знаю я этой теории и знать не хочу"?

И тут его взгляд падает на сидящего справа в президиуме (он на втором заседании появился) В.Н.Колбановского, который в те времена был директором Института психологии и редактором книги Выготского "Мышление и речь". Взгляд его падает на Колбановского, и он говорит:

- Виктор Николаевич, подтвердите, что все так и было. Вы же тогда сидели в президиуме, руководили собранием.

Колбановский встает и, бешено вращая глазами, говорит:

- Я ничего не помню, я ничего не помню.

Зал взрывается диким хохотом.

Тогда я говорю:

- Вот, все товарищи слышали, что даже тов. Колбановский, который был тогда директором Института и руководил собранием, ничего не помнит. Какое же вы имеете право заявлять подобное? Думаю, вопрос совершенно ясен. Я человек сторонний, но как член партии считаю, что партийная организация должна спросить со своего партбюро и наказать виновных. В противном случае я через райком, горком, ЦК партии добьюсь, чтобы это было сделано. А сейчас, думаю, надо переходить к рассмотрению содержания подготовленного тома Выготского - ведь мы для этого и собрались - и устроить настоящее обсуждение. Я думаю, что у нас здесь найдутся люди, желающие обсудить творчество Льва Семеновича Выготского, а эту историю надо считать законченной и разбирать ее уже следует в партийном, организационном порядке, а не в порядке академических обсуждений. Клевета есть клевета, тут все ясно.

И под аплодисменты зала пошел на место.

Секретарь пыталась что-то сделать, начала говорить:

- Как же так, тут были возмутительные выкрики...

Но из зала начали кричать (причем очень жестко):

- Хватит! Довольно! Переходим к обсуждению, переходим к обсуждению!

Все попытки устроителей тут что-то и как-то сделать ни к чему не привели. Наконец, встал Запорожец и попросил слова для выступления - и ему его дали.

Но самое интересное случилось тогда, когда я пошел на место. Теплов как всегда сидел в левом углу у самого прохода, как бы в стороне от всего происходящего. Проходя мимо, я взглянул ему в глаза, а он поглядел на меня и тихим голосом спросил:

- Зачем Вам все это понадобилось?

- Ради правды, Борис Михайлович!

Тогда он мне сказал:

- Вы эту правду еще на своей шее почувствуете.

Запорожец выступил очень темпераментно. Он вообще-то на редкость плохой оратор: начинает громко, а потом голос у него все стихает, стихает, под конец вообще бормочет себе под нос, да при этом еще поворачивается спиной к аудитории. Вы этого уже не увидите. Но в тот раз он был настолько возбужден - а человек он импульсивный и очень нервный, - что, несмотря на то что он очень плохо говорил, его речь все равно произвела гигантское впечатление на всех присутствующих за счет того эмоционального заряда, который он нес: он весь дрожал. Он рассказывал о значении Выготского для советской психологии, о его харьковском периоде и т.д.

Через два дня, уже в издательстве, идя обедать, я внизу встретил Александра Романовича Лурию. Институт дефектологии, которым он руководил, размещался в том же здании, внизу, на первом этаже. А.Р.Лурья подошел ко мне, пожал мне руку и сказал:

- Я Вам очень благодарен за прекрасное выступление. Вы вели себя очень мужественно. Я не пошел на это обсуждение. Знаете ли, это вообще мой принцип: собаки лают - ветер носит.

- А Вы вообще понимаете, что если бы не случилось этого странного инцидента, то Выготского еще раз закрыли бы?

- Но я не нарушаю своих принципов, - сказал он, немножко помолчав, и пошел к себе в лабораторию.

А еще через несколько дней пришла Лида Журова и говорит:

- Запорожец просил передать тебе благодарность и спросить: если будет организован Институт дошкольного воспитания, ты пойдешь туда младшим научным сотрудником?

- Может быть, если работа будет интересная, - ответил я.

В.П.Зинченко

Правда, моему приходу в Институт дошкольного воспитания предшествовало еще одно маленькое событие. Приехал ко мне Володя Зинченко и сказал: "Запорожец готов взять тебя в Институт дошкольного воспитания, но только если ты дашь слово никогда не выступать против него, а он вполне доверяет твоему джентльменскому слову".

Я торжественно обещал не выступать против Запорожца. Оказалось, что Запорожец смотрел далеко вперед, а я тогда, по молодости, неопытности и наивности не придавал сказанному никакого значения. Запорожец же все понимал и оказался человеком дальновидным...

Вот на этом, собственно, и закончилась, насколько я понимаю, попытка еще раз закрыть Выготского и его школу. Причем, для того чтобы Вы понимали смысл тогда происходившего, нужно иметь в виду, что в тот момент культурно-историческая концепция Выготского еще не была восстановлена и подмята Леонтьевым. Он тогда еще не продолжал и не развивал идей культурно-исторической концепции - это произойдет позже.

Вот каким образом, в результате какого стечения жизненных обстоятельств я не попал в Институт психологии в 1959 году в лабораторию Смирнова или Теплова, а попал в октябре 1960 года в Институт дошкольного воспитания. Так меня отблагодарили за мой выкрик и выступление на обсуждении тома работ Выготского. <...>

- А какова была судьба дальнейших публикаций работ Л.С.Выготского?

Разговоры о дальнейших публикациях шли все время, но никто не делал никаких телодвижений. Вот сейчас, как Вы хорошо знаете, Коля, будут публиковаться препарированные семь томов... т.е. будут ли

- это неизвестно, но известно, что Выготского там препарировали и переписали под теорию деятельности. Сейчас выйдет, так сказать, деятельностьный вариант. Причем, на самом деле это фальсификация.

Я только добавил бы к сказанному очень интересную вещь: те, кто сопротивлялся изданию работ Выготского, в такой же мере сопротивлялись и изданию работ Пиаже. Когда я вошел в 1961 году в редакционно-издательский совет с предложением перевести и издать том избранных сочинений Жана Пиаже (он опубликован в 1968 году), то мне понадобилось четыре года, чтобы разными хитрыми ходами преодолеть - я не буду сейчас обсуждать технику этого дела - сопротивление А.Р.Лурии. Он делал все, чтобы собрание сочинений Пиаже не вышло. Делал скрытно, но и открыто тоже, т.е. говорил на заседаниях редакционно-издательского совета, что это нам не нужно, что наши концепции более передовые, что зачем нам переводить и публиковать Жана Пиаже, когда у нас есть собственные работы, далеко ушедшие вперед и т.д.

- Такое впечатление, что это не характеристика данных людей как таковых или какая-то особенность их психологии. Эти ситуации все время воспроизводятся. . .

Да. Дело именно в групповой психологии. Я ведь очень хорошо понимаю то, что там происходило. Дело в том, что они, ученики, переписывали, использовали Выготского. Точно так же эксплуатируются работы Пиаже, его эксперименты, но не публикуют самого Пиаже. <...>

15 ноября 1980 г.

Я родился и вырос в семье так называемого ответственного работника. Это тот слой - иначе можно сказать "класс" - людей, который непосредственно строил и выстроил в нашей стране социализм. Когда я размышляю над тем, почему я стал таким, каким я стал, то я, конечно, очень многое отношу именно на счет характера и сложностей жизни семьи.

Это первый очень важный момент. Второй, тесно связанный с первым, - наверное, тот, что семья отца принадлежала к кругу еврейской партийной интеллигенции, но была как бы на его периферии. Этот момент тоже очень важен и должен быть специально выделен.

Сам отец был родом из Смоленска. Мать его носила очень известную на западе Белоруссии фамилию Сольц и была двоюродной сестрой Арона Сольца, которого в 30-е годы называли "совестью партии". <...>

Я уже практически почти не помню бабуку, но она всегда присутствовала в рассказах родственников и поэтому как бы реально существовала в семье. Была она очень своенравна. Достаточно сказать, что она сбежала "из-под венца", в буквальном смысле слова прямо из свадебной кареты, ушла к моему деду и какое-то время скрывалась в городе от семьи и жениха.

Родилось у нее десять детей, из которых пятеро выжили: три брата и две сестры. Старший брат отца был на двадцать лет старше его, средний - на десять лет. Оба учились в Германии на врачей,

поскольку в тогдашней России, как правило, учиться в высших учебных заведениях люди еврейского происхождения не могли и их не принимали на государственную службу. И было всего два пути: либо стать врачом с тем, чтобы иметь собственную практику, либо юристом, опять же чтобы иметь собственную практику.

Сольцы, в основном, были раввинами в различных городах Западной Белоруссии и Украины и в этом смысле принадлежали к такому, что ли, аристократическому слою внутри еврейства, но тем не менее молодое поколение очень активно шло в революцию.

Старший брат отца, Соломон, был одним из основателей социал-демократической партии, и в семье сложилась целая серия легенд о нем, которая точно так же определяла мое воспитание и развитие. Он с головой окунулся в революционную деятельность, имел частную лабораторию, которую в городах, где он жил, - Саратове, Воронеже, - предоставлял для партийной подпольной типографии. Это обстоятельство неожиданно сыграло важную роль в моей жизни, дало мне стипендию в университете, поскольку ее получение зависело от юриста МГУ Тумаркина, который, как оказалось, мальчишкой таскал в Воронеже кипы партийных газет.

Рассказывали очень романтическую историю о том, что старший брат был влюблен в женщину, тоже партийного функционера, они собирались пожениться, и вдруг он выяснил, что она является агентом охраны. Тогда он застрелил ее. Рассказывали также, что это так повлияло на него, что он вышел из партии, занялся научной деятельностью, стал профессором микробиологии в Ленинградском университете и закончил свои дни вскоре после блокады Ленинграда, которую пережил.

Второй брат, Лев, пошел по его стопам. Мальчишкой он принимал активное участие в событиях 1905 года, распространял листовки.

Наверняка, и отец пошел бы тем же самым путем, если бы не революция, - она кардинальным образом поломала этот традиционный для еврейской интеллигенции путь. В каком-то смысле отец даже был ровесником революции - он родился в 1899 году, и в момент революции ему исполнилось восемнадцать лет.

Среди его ближайших друзей еще по Смоленску были Чаплин, потом первый секретарь ЦК ВЛКСМ, и Бобрышев, один из секретарей ЦК ВЛКСМ, или, как тогда он назывался, ЛКСМ. Отец был выбран делегатом Смоленского Совета солдатских и рабочих депутатов, но уехал в Москву и поступил в Московское высшее техническое училище. Происходившие вокруг события не давали ему возможности реально учиться, и он скорее числился, нежели учился. Большую часть времени он проводил в самом Смоленске - в своем окружении, принадлежность к которому сыграла большую роль в формировании его личности.

Тут жила, например, семья Свердловых и многие другие. И вот эта его причастность к вполне определенному кругу людей, что ли, во многом формировала его мировоззрение, его отношения - они не были, в некотором смысле, его собственными, а были уже predetermined.

Он участвовал в гражданской войне - и в довольно больших чинах: к 1920-1921 году носил уже два ромба, т.е. получил звание комдива и даже какое-то время был заместителем Тухачевского по техническому обеспечению Западного фронта.

Был он человеком очень резким и в то же время в известном смысле достаточно наивным, поэтому у него всегда возникали какие-то трудности во взаимоотношениях с начальниками и сослуживцами. Я знаю только, что его откомандировали из армии на учебу. Это была такая интеллигентная форма избавляться от людей, ставших в каком-то плане неуютными. Он был направлен в МВТУ- заканчивать образование.

Там ему очень повезло, поскольку он получил в общем-то лучшую в мире инженерную подготовку - работал на кафедре Жуковского вместе с Рамзиным и другими очень известными инженерами. И при этом, как я понимаю, он удивительно соответствовал своей профессии, своему призванию, поскольку его всегда интересовала в основном технология - как все должно делаться. И в этом отношении он оказывал на меня очень большое влияние, причем сознательно и целенаправленно с самого раннего детства. Он далеко не всегда имел возможность видаться со мной и отдавать мне какую-то часть своего времени, но всегда обращал внимание прежде всего на то, чтобы привить мне некоторую технологичность в подходе ко всем явлениям.

Отец стал, по отзывам многих, очень хорошим специалистом. Рамзин оставлял его работать у себя, но тут вклинилась женитьба, надо было зарабатывать деньги, он ушел с последнего курса МВТУ и где только не работал. Был корреспондентом крестьянской газеты, работал в Министерстве финансов. Причем, так как грамотных людей, имевших какое-то отношение к партийным кругам, было очень мало, или сравнительно мало, то он очень быстро везде продвигался по службе.

Работая журналистом, научился быстро писать - довольно складно, как мне кажется. В Народном комиссариате финансов он очень скоро стал членом Коллегии, но там с ним случилась обычная и характерная для него история. Он ездил с какой-то проверкой в Грузию, обнаружил там огромные хищения, настаивал на придании суду виновных, и его снова отправили доучиваться. Был это, наверное, уже 1927 или 1928 год.

Поскольку надо было зарабатывать на жизнь, он заключил контракт с мыловаренным заводом. Завод платил ему стипендию взамен обещания отработать на нем несколько лет после окончания учебы. Тогда существовала такая форма контрактации специалистов. Но партийные решения определили совсем другую дорогу, и в 1929 году в числе первой тысячи специалистов-инженеров он был направлен создавать в стране авиационную промышленность. И вот с этого момента отец попадает в слой ответственных работников, и его дальнейшая жизнь с 1929 практически до 1949 года оказывается связанной именно с этим слоем.

Как я уже сказал, отец был в числе первых специалистов, которые пришли создавать авиационную промышленность - военную по сути своей. Он был тесно связан с Барановым, тогдашним командующим всеми техническими силами РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии). Опять же, в доме существовала байка, что этот Баранов очень любил, изображая лошадь, таскать меня у себя на шее.

Жили мы тогда на углу Воздвиженки, в старом генеральском особняке, который был перестроен и разделен на множество квартир - в большой коммунальной квартире, в центре которой находилась большая кухня с огромным количеством столов, на которых стояли примусы. Потом, уже сравнительно поздно, появился газ.



Но внутри этой квартиры мы занимали несколько привилегированное положение, поскольку у нас было две угловых комнаты и еще две комнаты рядом у сестры отца. Значит, мы занимали практически четыре связанных между собой комнаты, что тогда для Москвы было в общем-то достаточной редкостью. И объяснялось это принадлежностью отца к кругу ответственных советских работников.

В нашей квартире я с раннего детства встречал самых разных людей, занимавших очень высокое положение в партийной иерархии. И создаваемая ими жизненная атмосфера во многом определяла мое мировоззрение и мое мироощущение.

Вы знаете, наверное, этот дом: он находится рядом с бывшим морозовским особняком, ныне Домом Дружбы, но расположен ближе к Арбатской площади. Сейчас его перестраивают. Наверху, самые крайние окна справа, те, которые выходили на Воздвиженку, или улицу Коминтерна, как она тогда называлась, - вот это и были наши окна, а те, которые выходили на бывший морозовский особняк - тогда там находилось японское посольство, - принадлежали моей тетке, сестре отца. И поэтому я часто наблюдал, что происходит во дворе особняка, на японской территории, как ходят "самураи" с очень странными для нас нашивками, сменяются их службы и т.д. <...> В этом доме прошли первые одиннадцать или двенадцать лет моей жизни...

Моя мать происходила из совсем другой семьи: ее дед выкупил себя и своих детей из крепостной зависимости, причем сделал он это перед самой отменой крепостного права.

Семья перебралась в Москву, завела собственный дом в районе Лефортова. Отец матери и его брат мечтали открыть магазин и незадолго перед революцией открыли - то ли один, то ли два магазина. Они планировали стать монополистами в области торговли овощами в Москве, и наверняка бы стали, поскольку были очень целеустремленны и активны и достаточно культурны. Дом в Лефортово, семейный дом, существовал до самого последнего времени, буквально три-четыре года назад оттуда всех расселили, и он пошел на снос.

Масса моих детских впечатлений, воспоминаний связана с этим домом. Он был двухэтажный, внутри была винтовая лестница, как на корабле, и когда мы приезжали в семейное гнездо Баюковых-Борцовых, то я мальчишкой очень любил выдумывать какой-то странный фантастический мир, бегая вверх и вниз по винтовой лестнице. Эта беготня по лестнице занимала почему-то большое место в моей детской жизни, как и вообще представление о самом доме.

В этот дом отец мой попал после гражданской войны, когда его отозвали доучиваться в МВТУ, а привел его туда приятель - Сергей Митехин, который был командиром полка в отцовской дивизии. Они и женились на двух сестрах.

Собственно говоря, семья Баюковых действительно составляла другой слой, другой класс людей, которые по-своему, фактически солженицынским путем, строили бы дальше Россию, но революция поломала их жизненную программу, кардинально изменив их способ и образ жизни.

Моя мать всегда занимала совершенно особое положение в семье: ее обожал дед, любивший возиться и со мной (он умер уже после моего рождения, где-то в 1935-1936 году).

Это был мужик с удивительным чувством ответственности за происходившее в стране. Я помню, что

он меня, еще совсем маленького мальчишку, брал с собой и таскал по стройкам Москвы. Он научился читать и писать, когда ему было, наверное, уже за 70, но делал это очень здорово. У меня сложилось такое впечатление, в основном, конечно, по семейным рассказам, что это был удивительно интеллигентный русский крестьянин, который вырастил себя от самоощущения и представлений крепостного до ощущения себя хозяином страны, отвечающим за все, что в ней происходит. Про него всегда говорили, что все, за что бы он ни брался, выходило отлично - в силу какого-то очень большого внутреннего чувства ответственности.

Мать была его любимицей, и хотя в доме было принято обязательно работать - полоть, скажем, грядки и вообще все время быть чем-то занятым, - ей он разрешал прятаться за шкаф и читать там книги. Однажды, было это уже где-то в 20-е годы, дед удивил даже ее: он тайно провел за шкаф - а тот стоял углом, и за ним была такая каморка - электричество и повесил маленькую лампочку.

Мать с большим трудом входила в семью Щедровицких. Мне потом казалось, что это все происходило потому, она не имела достаточного образования и очень боялась бабы Розы. Тем не менее, именно она всегда была действительным стержнем семьи, определяла морально-этическую атмосферу в доме. Она, в общем-то, была главным человеком в семье, и нравственные устои нашего дома определялись именно ею. Уже родив меня и моего младшего брата, она закончила медицинский институт и потом всю жизнь проработала микробиологом, став в конце концов руководителем микробиологической лаборатории очень большой поликлиники. Бывая там, я всегда удивлялся той любви, которой она пользовалась среди своих подчиненных, и другого такого случая в жизни своей больше не встречал. И даже после того как она ушла на пенсию, сотрудницы этой лаборатории, когда что-нибудь случалось, приходили к ней советоваться и решать все свои вопросы. Я уже не говорю о том, что они все эти годы приезжали к ней просто так, без какого-либо повода - вдруг собирались и ехали к ней всей лабораторией, хотя она уже лет десять как не работала.

Однажды, уже после переезда на Сокол, один из моих приятелей сказал мне: "Ты думаешь, мы к тебе ходим? Нет, мы к твоей матери ходим".

Я научился читать года в четыре, и примерно с четырех с половиной или пяти лет чтение стало моим основным занятием. Я читал с утра до вечера и с вечера до утра. Сначала у матери была какая-то своя программа выдачи мне книг, но уже через полгода от нее не осталось и следа. Я читал без разбора: детские книги, взрослые книги, открытые книги, закрытые книги - все, что попадалось под руку. Отец в общем-то потворствовал такому чтению: когда он имел свободное время по воскресеньям (а это было очень редко), он брал меня, а потом меня вместе с братом, и мы шли в книжный магазин. Для нас это был праздник, и мы выбирали по книге. Они торжественно покупались и приносились домой. И вот книги и были самым главным, что определяло для меня быт и дух всего дома. С ними могли конкурировать, может быть, только солдатики, в которые я с диким увлечением играл. В тогдaшнем моем детском представлении - лет до двенадцати - выше танкиста не было никого. По Воздвиженке (улице Коминтерна) проходили танковые колонны, идущие на парад.

Они начинали идти где-то с ночи, проходили по всей Воздвиженке, Манежной, выходя на подступы к Красной площади, а какие-то танки стояли еще на самой Воздвиженке. Это были варианты, как я теперь знаю, колесно-гусеничных танков Кристи. Так было в дни праздников. А ведь были еще и тренировки - по два-три раза перед каждым праздником.

Мать примирилась с неизбежным, она крепко забивала окна, выходившие на Воздвиженку, клала там какие-то одеяла, подушки. Но как только раздавался первый грохот, я влезал на окно и проводил там всю ночь. Я мог глядеть на движение этих танков бесконечно. Вообще, более возвышенного образа, чем образ танкиста - в кожаной куртке, с очками на фуражке (тогда еще не было шлемов), вылезавшего из люка или влезавшего туда, - у меня не было, и когда меня спрашивали, кем я собираюсь быть, то я отвечал: танкистом и только танкистом.

- "Броня крепка, и танки наши быстры..."?

Да, я воспитывался именно в этом духе. Но ни самолеты, ни пушки, ни корабли, а именно танки завладели моим воображением. Мы жили в атмосфере постоянных разговоров о войне, и я себя воображал танкистом или даже командующим огромными массами танков. Как я теперь понимаю, мыслил я точно так же, как Гудериан, войну представлял себе как столкновение многих тысяч танков и имитировал их прорывы и охваты в детских играх.

Мы жили с братом Левкой и бабушкой в одной комнате, а отец и мать в другой... Это был огромный мир. У меня была своя оловянная армия и десятки разнородных танков: одни просто тархтели после завода, другие не только тархтели, но и стреляли на ходу, третьих надо было просто передвигать руками.

Зная мое увлечение, все родственники на дни рождения дарили мне оловянных солдатиков в разном обмундировании. Под кроватью строились казармы, в которых они жили, и я вел настоящую войну со всеми теми, кто убирал комнату и должен был вытирать пыль.

Вот так и сосуществовали рядом два мира: мир книг и мир войны. Где-то в 1937 или 1938 году, приехав из Ленинграда, дядя Соломон, старший брат отца, подарил мне восемь томов "Истории XIX века" Лависса и Рамбо. Они стали моими настольными книгами. С тех пор я увлекся историей, и все детство и юность непрерывно не то чтобы изучал историю, а жил ею. Ну, уж а Лависса и Рамбо я проработал досконально и, мысленно продолжая ее, писал историю XX века, историю своего времени. Тогда мне, конечно, и в голову не приходило, что историю можно писать только много десятилетий спустя...

Отец благодаря природным способностям, организованности, известному педантизму, настырности (так можно сказать), общей технологической ориентации стал довольно хорошим, а по отзывам многих, просто блестящим инженером, автором смелых инженерных решений.

По своим семейным связям, как я уже говорил, он принадлежал к кругу партийной интеллигенции и потому пользовался доверием властей -- и в то же время был далек от какой-либо политической жизни. Как и все его поколение, он с утра и до вечера строил этот самый социализм - и строил его технически. Практически именно он до 1945 года руководил проектированием всех советских авиационных заводов. И не было такого завода в то время, в создании которого он бы не принимал непосредственного или, как правило, руководящего участия.

Это, наверное, и сохранило ему жизнь, хотя над ним всегда висела угроза ареста. Она была фоном жизни семьи, и, как рассказывает мать, в 30-е годы они практически не спали, каждую ночь ожидая ареста. Но угроза так и осталась угрозой, если не считать нескольких в общем-то незначительных

эпизодов, когда отца увозили и мы некоторое время не знали, где он и что с ним, а потом он все-таки возвращался.

В общем его жизнь прошла благополучно, поскольку он был в известном смысле незаменимым специалистом. То, что он совершенно не интересовался партийной политикой и не принимал в ней участия, тоже стало своего рода гарантией выживания. Он и в партию вступил очень поздно - в 1942 году, и, может быть, это обстоятельство, собственно, его и спасло. Если бы он сделал это раньше, а он был все время близок к тому, то, наверняка, попал бы в один из тех слоев, которые были уничтожены. А не вступал он не потому, что не хотел, а потому что всюду, как я уже сказал, попадал в какую-нибудь конфликтную ситуацию.

На своем месте он оказался только после 1929 года и отдался порученному делу целиком и полностью. Я думаю, что он, занятый своей работой с утра до вечера, никогда не задумывался над тем, что творится вокруг. Происходившие вокруг него аресты, исчезновения товарищей ему, как и многим людям его круга, были понятны: у него вряд ли были какие-то иллюзии. Но удивительная особенность человеческого сознания, жизни такова, что все это существовало как бы вне его. Вот он работал, держался за свою работу, а всего остального не видел и не хотел видеть. Люди его круга строили социализм, именно строили - это выражалось в создании заводов, сложных машин, самолетов, танков, станков, поточных линий, новой техники, дорог, электростанций. Они строили и совершенно не задумывались над тем, что, собственно, происходит вокруг них. И в этом смысле социализм строился совершенно естественно - это был естественноисторический процесс, в котором они вроде бы, с одной стороны, и принимали участие своими действиями, своей работой, а с другой - фактически не принимали никакого сознательного участия. Хотя, я еще раз повторяю, с моей точки зрения, это и был тот слой, или тот класс, людей, которые строили и построили социализм в нашей стране. Именно эта особенность их сознания и их психики всегда была для меня загадкой, хотя распространена она повсеместно.

Мой отец в данном отношении принципиально отличался от двух своих старших братьев, которые, по-видимому, принадлежали к другому поколению людей - с другим устройством сознания и психики.

Дело в том, что средний брат Лев давно все понял, т.е. он понял смысл происходившего в стране, нашел какое-то свое локальное место в жизни и никогда реально не принимал участия в строительстве этого социализма. Он жил на его фоне, был очень скептически настроен, посмеивался, имел опыт отсидок в царской тюрьме, понимал, что происходит, и имел свою позицию, свою точку зрения. Играл в преферанс.

Сродни ему была тетка Люба, близкая по возрасту. В молодости была боевиком и принимала участие в очень известных покушениях..., а потом вышла замуж и тоже жила, как бы наблюдая происходящее извне.

Они уже тогда были практически внутренними эмигрантами, но совершенно молчаливыми. Они не имели никакого отношения к строительству социализма и жили своей собственной жизнью.

Старший брат Соломон ушел в науку, занимался микробиологией и тоже вел, по сути дела, частную жизнь как гражданин и активную - как ученый. Естественно, в преферанс он не играл.

Каждый из них нашел свою особую нишу, и вот про них, старших братьев, я не сказал бы, что они были строителями социализма, а отец был строителем, причем строителем, не имевшим времени раздумывать над своим строительством.

Оба старших брата вполне сознательно относились к происходившему вокруг, но это исключало их из активной социальной жизни. Здесь нельзя сказать "социально-политической" - именно социальной жизни. Отец активно участвовал в социальной жизни и практически никогда не думал над тем, что же, собственно, в конечном счете, он делает: все его сознание и самосознание ограничивалось тем, что он конкретно строил. В этом плане он действительно ровесник революции и типичный представитель своего поколения. Для него имели значение награды, звания, чины, масштабы порученного дела, и поэтому, когда в 1948 году его отстранили от работы, он практически не мог уже больше нормально жить. В самом себе, в своем мышлении, в сознании он опоры не имел. Но я к этому еще вернусь.

Круг моих интересов и несколько особое положение в семье определили такую жизненную позицию, при которой невозможно было принять всерьез подобную идеологию. Я читал исторические книги и жил окружавшим меня духом строительства социализма, имея возможность близко наблюдать, а часто даже и беседовать с людьми, которые занимали очень высокие государственные посты, с людьми, которые по рангу и положению равны были нынешним членам политбюро и секретарям ЦК. Они постоянно бывали в доме: исчезали одни - появлялись другие, занявшие их место. Поэтому я невольно был втянут в проблемы партийно-государственной жизни - как наблюдатель, как мальчишка, который хотел понять, что происходит вокруг. В принципе, для меня с самого раннего возраста, т.е. уже с восьми-девяти лет, не представляли никакой тайны механизмы происходящего. Я понимал, что движет окружающими меня людьми, каковы их человеческие интересы, страсти, насколько слова не совпадают с тем, что происходит реально.

Вот это расхождение, двойственность были отрефлектированы мною очень рано, и я даже не могу точно сказать, как рано. Фактически - с того момента, как я начал думать и сознавать себя как мыслящую личность. Существование двух планов, двух стандартов было для меня так очевидно, что идеология осознавалась мною именно как идеология, как механизм политики, а не как что-то соответствующее реальным вещам. То, что писалось в газетах, в книжках о процессах 30-х годов, было для меня именно сказанным, написанным, инсценированным - и только. Поэтому я довольно рано оказался в весьма странном положении в семье, особенно по отношению к отцу, потому что отец-то мой - я еще раз повторю - вроде бы тоже все знал, но он никогда не признавался в этом даже самому себе. Он не обсуждал происходящего, у него не было к этому личного отношения - как к какому-то событию, требующему осмысления, оценки и выработки отношения. Точно так же, как, скажем, он, наверное, не относился никак к тому, что солнце всходит и заходит. Оно всходит и заходит - таковы условия жизни. Для него здесь не было проблем, это была естественная среда его существования.

Для меня же проблема была, и мне каждый раз хотелось понять, что же реально происходит. Это - с одной стороны, а с другой - я даже не осознавал своей социальной принадлежности к правящему слою, что во многом предопределило постоянные трудности моей социализации в предстоявшей жизни. Чувствуя за собой поддержку и известную мощь семьи, я никогда не ставил перед собой проблемы "входить" во что-то - входить, приспособливаться, пристраиваться, подстраиваться, искать

какие-то формы социальной адаптации. Наоборот, была голая нравственно-этическая максима, полученная от матери, ригористичная по сути своей: белое есть белое, черное - черное. И никаких компромиссов, никаких промежуточных тонов.

И в то же время - знание и понимание истории, причем полученные из книг. В определенном смысле я жил историей XIX века, а книги Лависса и Рамбо были очень занятой подготовкой к пониманию реальных событий. Почему я все время говорю о них? Наверное, потому, что они во многом повлияли на мое развитие. Это ведь был не учебник всемирной истории, в котором рассказывается о древней Греции, походах Тамерлана, татарско-монгольском иге, где столетия укладываются в одну-две странички. Нет, это была восьмитомная история одного века, в которой все механизмы - экологические, хозяйственные, политические - описывались детальнейшим и подробнейшим образом, т.е. вскрывались механизмы исторического человеческого действия. Естественно, я сквозь эту призму рассматривал все то, что происходило вокруг. Вся сложнейшая картина исторического анализа XIX века - его уровни, планы и срезы - стояли передо мной как живые.

В те годы - и это важно очень четко понимать - существовало неимоверно сильное напряжение классовых отношений. В мальчишеской среде оно проявлялось, в первую очередь, в драках во дворе. Существовал жесткий антагонизм в отношениях между теми, кто имел свой письменный стол, книги, регулярно ел и за кем следили и ухаживали, и теми, кто жил в подвалах нашего же двора. Подобные отношения проходили красной нитью через мою жизнь, хотя тогда я ни в коем случае не воспринимал их как классовые отношения.

Если, скажем, в моем присутствии кто-то произносил слово "жид" - это встречалось не так часто, как после войны, но тоже было, - то я не раздумывая бросался в драку. Причем не потому, что я считал себя евреем, - как раз наоборот, у меня было совершенно другое мироощущение: я был советский, русский от начала до конца, - а просто потому, что это выражение противоречило принципам коммунистического, или социалистического, интернационализма.

Вообще, мир идеологии, марксистской идеологии, партийной идеологии - он каким-то удивительным образом целиком завладел моей душой: я буквально существовал в этой системе идеологических представлений и норм. К нравственно-этическому ригоризму, унаследованному от матери, добавлялся еще этот коммунистическо-социалистический ригоризм.

Чуть дальше я расскажу, какие злые шутки сыграла со мной в университете идеология, совершенно захватившая меня и мной управлявшая.

В то же время было и видение, и понимание как бы подлинных механизмов развития политических событий, но на самом общем уровне, что не затрагивало каждодневных, повседневных отношений между людьми из разных имущественных, социальных групп.

И самое главное - я всегда чувствовал себя ответственным за то, что происходило вокруг, и относился к себе как к продолжателю той жизни, которой жил. Такая активность, или то, что сейчас принято называть активной жизненной позицией, была присуща мне изначально, по рождению в этой семье.

В 1937 году я поступил во второй класс 94-й средней школы Краснопресненского района.

Практически единственным моим приятелем в то время был Левка Богорад. Тогда он жил в так называемом четвертом доме правительства - на другом углу Воздвиженки, где находится Президиум Верховного Совета, причем жил он в подъезде, где потом находилась столовая Верховного совета. Отец его работал в Совете Народных Комиссаров, и они занимали примерно такую же квартиру, как и мы, но на первом этаже. Это по советским меркам свидетельствовало о более низком ранге той должности, которую занимал его отец по сравнению с моим, но, в принципе, мы были детьми из семей одного круга. Свело нас, по-моему, на третий или четвертый день нового учебного года то, что его обозвали "жидом", а я врезал тотчас же тому, кто это сказал (был у нас такой парень Гаврилов, сидевший во втором классе третий год), и дальше нам пришлось встать, как римским легионерам или гладиаторам, спиной к спине и драться с огромной компанией мальчишек, которые всегда крутятся во дворе школы. И вот эта драка, из которой мы оба вышли с разбитыми носами, но с чувством выполненного долга, нас и соединила.

- А где находилась школа?

Она находилась во дворе Нижнего Кисловского переулочка, рядом с домом Моссельпрома - ее закрыли во время войны. Когда вы идете от Арбатской площади к консерватории, проходите по Нижнему Кисловскому и поворачиваете налево, на Малый Кисловский, то вот по правую руку вниз и будет эта школа, а дом Моссельпрома остается слева.

Был я тогда влюблен в девочку, которую звали Нина Зайцева. Ее семья жила в бывшем генеральском доме, на Никитском бульваре, рядом с домом журналистов, тогда по нему еще ходила "Аннушка" - трамвай А. Отца ее арестовали и расстреляли, потом отца арестовали и расстреляли через два года. Мать вышла замуж в третий раз и родила еще одного ребенка, брата Нины, отца которого тоже арестовали и расстреляли позднее. Это одна из судеб женщин того времени - очень характерная: оставались дети, и материальная сторона жизни становилась невероятно тяжелой, поскольку одна женщина тянула оставшихся детей.

Вообще, быт большой коммунальной квартиры надо описывать специально. Когда утром все вставали, то перед туалетом - а туалет был один - выстраивалась очередь в пять-шесть человек. Эта очередь представляла собой клуб квартиры.

Поскольку основной вход особняка был закрыт и входили всегда только с черного входа (это опять очень интересное обстоятельство организации жизни и, кстати, тоже не случайное), то фактически все двери, а жило там шесть семей, выходили на кухню. Да еще на этой кухне бывшая домработница моей тетки, Агаша, имела отгороженный чулан и в нем жила, причем, уже не в качестве домработницы: она где-то служила, а у тетки подрабатывала уборкой; и вот она была еще одной, седьмой, семьей в этой квартире.

Центр квартиры с рядом стоящих примусов был всегда полон дыма, чада - и это был один мир. Когда же мы из кухни проходили к себе, то попадали в другой мир. Мир наших комнат не имел ничего общего с кухней и миром жизни остальной квартиры.

Я помню, что дома у нас было очень уютно. Дверь отделялась от комнаты двумя рядами тяжелых - от потолка до пола - портьер, чтобы уменьшить внешний шум, поэтому когда вы проходили через этот двойной воздушный барьер, то в общем-то попадали в другой мир. Ну а мы с братом жили еще

дальше, в детской комнате, туда вообще ничего не долетало.

Кажется, году в 1939-м отец получил персональную машину, "Эмку", и это было знаком определенной социальной принадлежности, что вольно или невольно определяло, конечно, и мое мироощущение, мирознание. Утром за ним приезжала машина, он садился и уезжал, а когда возвращался, мы уже все спали. В 1940 году отец получил квартиру на Соколе, и мы переехали в новый, с нашей точки зрения, совершенно шикарный дом (я думаю, что он кажется шикарным и по современным представлениям). Это один из так называемых "сталинских" домов - лучшее, что у нас когда-либо строилось. Во всех подъездах этого восьмизэтажного дома получили квартиры только ответственные работники авиационной промышленности.

Среди жителей дома существовала байка, что когда проектировали и строили этот дом, то архитектору-строителю пообещали в нем квартиру, но не сказали, какую, и поэтому он делал все очень качественно.

Жили мы на тогдашнем краю Москвы: наш дом был фактически последним в том массиве, который теперь называется районом Песчаных улиц. Непосредственно к дому примыкали поля совхоза, и я, сидя в своей комнате, мог непосредственно наблюдать как весной там пахали и сеяли самым примитивным образом: лошадь и плуг - никаких машин.

Так продолжалось до 1946 года, когда однажды я увидел, что на поле (и это опять все было перед моими глазами) въехала куча черных машин и какой-то человек, такой - под Кирова, ходит по полю, показывая руками туда-сюда. Сельскохозяйственные работы были приостановлены прямо посередине. Я узнал потом, что это был Георгий Попов, секретарь МГК партии, который впервые заложил в 1946 году то, что получило потом название хрущевских построек. К Хрущеву они, на самом деле, не имеют никакого отношения. Весь район Песчаных улиц с 1946 года начал застраиваться такими однообразно одинаковыми домами.

На той улице, которая сейчас называется Новопесчаная, тогда стоял рядом с нашим только один серый дом - тоже какого-то народного комиссариата, как это тогда называлось. Часть территории между двумя домами была заасфальтирована, на ней мы в основном и играли в футбол, а дальше начиналось поле.

Осенью 1940 года меня перевели в 144-ю среднюю школу, где у меня появилась большая компания друзей, которая сохранялась какое-то время и после войны.

В 1941 году, после начала войны, мы были эвакуированы в Куйбышев. Отец к тому времени стал начальником СПБ (Специального проектного бюро). Это предприятие с таким скромным названием проектировало и технически обеспечивало создание всего комплекса куйбышевских авиационных и технологически связанных с ними других военных заводов на Безымянке и в ряде других мест. Строились все они руками ээков.

С войной изменилась форма одежды: все стали ходить либо в военной форме, либо в кожаных куртках. Летом - в сапогах и галифе, зимой - в бурках.

В 1942 году отец получил свой первый орден - Трудового Красного Знамени. У него была черная кожаная куртка - и на ней очень красивый орден. Отцу было тогда 43 года, он был вполне



импозантен, и я очень гордился им, его работой.

Жили мы в Куйбышеве в доме МВД, на Самарской улице. Это были даже два дома, причем, очень интересно сделанных: один - квартирный, а другой - коридорный. Они стояли рядом и образовывали один комплекс. Квартирный - для работников более высокого ранга, а коридорный, с одной комнатой - для работников рангом ниже. И в том же доме размещался двухэтажный магазин - внизу общий, в котором мог покупать каждый, а сверху, куда вела специальная лестница, отпускали товар только по "заборным" книжкам.

Заборные книжки существовали с 30-х годов. Это была такая толстая книжица, разграфленная на клеточки с номерами. И какое-то там торговое руководство устанавливало, что, скажем, вот по этому номерочку дают то-то, по другому - то-то и т.д. И когда приходили владельцы заборных книжек, они спрашивали, что сегодня дают и сколько. Но и тут существовал механизм блата. Например, тот, кто выдавал товар, вполне мог обмануть и сказать, что дают не все то, что объявлено для выдачи. Поэтому, прежде чем идти получать по своим заборным книжкам, жены ответственных работников бегали по всему дому и у самых важных жен выясняли, что же дают на самом деле, с тем чтобы поспорить и поторговаться.

Эта система действовала весь 1942 год, и хотя ассортимент регулярно сужался, зато постоянно давали что-то сверх того, что было на карточках, т.е. так называемые ненормированные продукты.

Мы жили в квартирном доме, причем при нашем вселении произошла неприятная накладка. СПБ было создано еще до войны, его головная организация находилась в Москве, а в Куйбышеве - филиал. Когда вся головная организация эвакуировалась, то местных ответственных работников потеснили. Например, нас вселили в трехкомнатную квартиру, но владельцев этой квартиры разместили всех в одной комнате, а нам дали две. Причем, самого главу семьи забрали в армию, а в квартире остались его жена и две дочери, которые и остались в этой одной комнате.

Весь дом жил только проблемами продвижения по службе: кого и чем наградили, кому что дали, кто что получил; это было основной проблемой обсуждения, так же как и пайки. И существовал очень сложный клубок социальных отношений и социального неравенства. Меня всегда удивляла та ненависть, с которой к нам относились, но дома это не обсуждалось.

Мальчишки тоже, естественно, жили по законам этой социальной иерархии. Каждый знал, кто чей сын, и отношения в каком-то смысле строились в зависимости от отцовского служебного положения. Скажем, детей особо ответственных работников бить было нельзя, потому что у родителей могли последовать неприятности по работе. Но тем не менее дом был невероятно боевой. Например, мальчишки стреляли друг в друга из пистолетов, которые они получили от отцов, и за время, пока мы там жили, было два или три смертельных случая. Много раз устраивались обыски, чистки, изымали у мальчишек оружие, наказывали тех, кто дал, если их находили. Но шла война, практически все были военными - оружия много, и контролировать его было на самом деле невозможно. А о финках я уж и не говорю: парень без финки в то время - это вообще не человек. И жизнь свою приходилось защищать действительно всерьез, по-настоящему.

Сначала я учился в очень плохой, 25-й школе. В ней я впервые понял, что есть такие ситуации, когда приходится защищать свою жизнь - спасать в прямом смысле этого слова. Например, на третий или

четвертый день прихожу в школу, вроде все нормально, идут занятия, после уроков выхожу на улицу и вижу толпу. Спрашиваю у какой-то девочки, что происходит. Она говорит: "Это тебя сейчас бить будут. За что - не знаю и не интересуюсь".

К этому времени широко расцвел антисемитизм, и он то и дело выливался в резкие противостояния и конфликты. За время жизни в Куйбышеве - а мы вернулись в Москву осенью 1943 года - я получил четыре весьма серьезных ранения. Одно из них было почти смертельным: ударили в область сердца немецким штыком. Как сказал врач, еще миллиметр - и конец.

Я ходил в школу с большим металлическим прутом. Решил, что финку иметь не надо, поскольку можно "сесть", а вот металлический прут (у меня был четырехгранный металлический прут, к которому я приделал съемную ручку) - это то, что может спасти. И когда собиралась орава меня бить, я выходил со своим металлическим прутом, и все твердо знали, что тот, кто нападет первым, умрет, и так как никому не хотелось умирать, то первого не находилось, и это меня спасало в целом ряде ситуаций.

Потом я перешел в другую школу, считавшуюся очень хорошей, поскольку в ней собрались эвакуированные интеллигентные преподаватели. В основном в этой школе учились эвакуированные москвичи и ленинградцы. Сложились по-настоящему сильные классы, и жизнь в них была очень интересной.

Но была война, и жили мы в основном интересами войны и фронта. Раньше принимали в комсомол с пятнадцати лет. Из-за войны этот возраст на год уменьшили. Можно было вступать с четырнадцати лет. В свое время в Москве я пошел в школу сразу во второй класс и был, поскольку я - февральский, на полгода, а реально часто на целый год, моложе своих одноклассников. Поэтому, когда их стали принимать в комсомол, мне было очень обидно, и я, хотя по возрасту не подходил, стал проситься, чтобы меня тоже приняли.

У нас был очень интересный секретарь райкома комсомола, по фамилии, по-моему, Соколов. Он очень любил Эдуарда Багрицкого (в то время Багрицкий был весьма не в почете, и больше того - вообще было не понятно, как с ним быть) и, иногда приезжая к нам на комсомольские собрания, читал по 15-20 минут наизусть самые его пламенные стихи. Он погиб потом на фронте, а для меня он остался одним из действительно святых образов настоящего комсомольского лидера. Я потом никогда в жизни не встречал людей, у которых бы слово было так тесно спаяно с делом.

Мне он сказал, что преждевременное вступление в комсомол я должен заслужить, и я пошел работать санитаром в госпиталь. Полгода я там проработал, он размещался тогда в помещении ЦДКА, напротив Куйбышевского драматического - кстати, очень интересного - театра. Я получил разрешение вступить в комсомол. Наша же комсомольская организация приняла решение: ученики старших классов идут на завод, учатся и работают параллельно. Три четверти года мы работали на заводе и учились. Были созданы сменные классы, и преподаватели занимались с нами, скажем, почти ночью. Мы приходили со смены в десять часов вечера и до двенадцати нас чему-то учили. Конечно, все в основном спали. Потом вышел какой-то приказ, и нас всех отчислили с завода.

Конечно, в то время было уже не до драк, и если они и происходили, то только в нашем дворе. Наш двор был центром очень сложной жизни всего микрорайона. В нем находились склады магазинов, и

мальчишки со всех окрестностей приходили сюда, для того чтобы уворовать немножко помидор, капусты или картошки при разгрузке. Вокруг крутились разные компании, между которыми без конца шло выяснение отношений.

Осенью 1943 года мы вернулись в Москву, и я пошел учиться в восьмой класс 150-й школы. Это был старший класс, поскольку взрослее молодежи в Москве практически не было.

После восьмого класса я поступил на подготовительное отделение Московского авиационного института. Мне хотелось окончить девятый и десятый классы за один год и пойти в МАИ.

Любопытно, что, куда бы я ни попадал, всюду очень плохо социализировался и рано или поздно оказывался в невероятно жесткой оппозиции: между тем, что мне казалось правильным, человеческим, достойным, нормальным, и той ситуацией, которая развертывалась помимо моей воли.

Начать хотя бы с того, что мне всегда казалось, что преподаватели должны работать и учить лучше; точно так же мне всегда казалось, что и ученики должны работать и вести себя лучше, жизнь их должна быть более содержательной. И это выливалось в непрерывную серию конфликтов, через которые так или иначе надо было проходить, - конфликтов и с коллективом учеников, и с преподавателями, причем в равной мере и с теми, и с другими. А так как подобное случалось повсюду, я полагаю, что это относилось в первую очередь ко мне.

- А Вы осознавали это тогда?

Нет, я просто жил в атмосфере непрерывных конфликтов. Наверное, очень часто своим сверстникам и соученикам я казался немножко странным, предельно идеологизированным и карьеристом. Во всяком случае, я был для них загадкой, причем загадкой в силу странности и неадекватности моего поведения, моих действий, так как мотивы и цели действий были всегда очень непонятны им. Мне об этом говорили очень и очень многие - мои сверстники по школе, студенты, с которыми я учился на физическом факультете МГУ, а затем на философском факультете.

Можно привести массу примеров. Ну, скажем, когда мы работали в госпитале в Куйбышеве, я вступил в конфликт с одноклассниками, поскольку они с какого-то момента (на второй или третьей неделе) начали халтурить. Возможно, тут была моя какая-то дурацкая безудержность, потому что уж если я начал работать в госпитале, то я там работал, и разница между днем и ночью исчезала. И не было вообще никакого представления о соотношении между целями, средствами и затратами. Проблема затрат никогда не возникала.

Я опять же не знаю, почему эта сторона жизни так долго оставалась мне недоступной. Когда я пришел в восьмой класс 150-й московской школы, то директриса вдруг, действуя по собственному почину, издала приказ обрить всех нас. Приказ был незаконным, поскольку было постановление, что стричь наголо учеников можно было только до восьмого класса, а уже восьмые могли носить прическу. Я начал войну - за справедливость и за принцип. Эта война продолжалась, наверное, год - собственно, все время учебы в 150-й школе.

Мои товарищи, поначалу поддерживавшие меня, в конце концов так или иначе отступили. А для меня это был вопрос не просто самоутверждения, а самого существования, поскольку речь шла о

некоторых принципах самой жизни. В процессе столкновения с директором школы в ход пошли самые разные приемы и развернулась активная социальная борьба. У этой ситуации было любопытное продолжение уже на подготовительном отделении МАИ.

Там собралась очень интересная, интеллигентная компания. Я был особенно дружен с Мишкой Вальденбергом (он сейчас генеральный конструктор у Микояна) и Димкой Избахом. Судьба его оказалось очень несчастливой: в 1948 году его отца - известного журналиста - обвинили в космополитизме и арестовали, так как он не принял развязанной кампании и пытался открыто ей противостоять.

Занятия нам мало что давали, так как их общий уровень был невысок. Зато мы весело проводили время: мы играли в "балду", "дурака", рассказывали разные истории из богемной и околобогемной жизни Москвы, и поэтому нас всех посылали бурить - была такая форма наказания. Снимали с занятий студентов-подготовишек и отправляли их на буровую площадку, расположенную на территории (там постоянно шли какие-то буровые работы).

Ну бурить, так бурить. Два моих приятеля пятнадцать минут бурят, сорок пять минут отдыхают. На свежем воздухе - очень здорово. А я ведь абсолютнейший дурак: уж если меня отправили бурить, так я "бурю" всерьез. И я бурил всю неделю, пока нас не отправили назад на занятия, даже сделал несколько рационализаторских предложений. Мои трудовые подвиги не остались незамеченными, и бурильная команда стала требовать вернуть меня, так что преподаватели приходили на занятия с задачей поймать меня на чем-то и отправить бурить. Дело доходило до смешного. Я возвращался на занятия, сидел - и сидел уже тихо, - но еще не успевал войти в суть дела, как меня опять отправляли бурить. Я толком не понимал, что происходит, хотя смешная сторона происходившего становилась все заметней и заметней. И вот потом оказалось, что из трех или четырех месяцев пребывания на подготовительном отделении я два месяца бурил. Естественно, что год прошел для меня совершенно бесполезно.

К всему этому добавилась еще война между Мосгороно и подготовительными отделениями, которые тогда расплодилось во всех вузах Москвы. Мосгороно совершенно справедливо полагало, что на подготовительных отделениях не дают настоящей подготовки, поэтому создавать их и набирать туда молодежь - неправильная образовательная политика. В итоге нас отправили сдавать экзамены на аттестат зрелости (тогда впервые ввели аттестат зрелости) в знаменитую 110-ю школу. Ее директор был тогда очень известен, его имя всюду склоняли и спрягали. Это была самая знаменитая школа Москвы. И вот туда, в эту школу, мы были направлены, чтобы продемонстрировать уровень наших знаний. Список экзаменов был гигантским - двенадцать или четырнадцать экзаменов, причем, так как аттестация проводилась впервые, все было обставлено невероятно серьезно, с серебряными и золотыми медалями под номерами 1, 2, 3 и т.д.

Вполне естественно, что три четверти из нас не сдали на аттестат. Уровень моей неподготовленности к тогдашним требованиям, и вообще несоциализированности, может быть охарактеризован, например, следующим образом. Я написал на экзамене сочинение на тему "Образы помещиков в русской литературе" на двадцати трех страницах. Сочинение было признано одним из самых лучших по содержанию, но в нем была двадцать одна ошибка. С моей точки зрения, не так уж много для двадцати трех страниц текста, если подсчитывать всерьез. Но оценку определяло общее число

ошибок.

На экзамене по устной литературе я получил пятерку, за сочинение - двойку, учителя долго думали и поставили мне общий балл "три" - условно. Потом была письменная работа по геометрии, которую, как потом выяснилось, я написал на "два". Почему, я не знаю, - я-то был убежден, что все решил. На экзамене по физике, который шел следующим, я начал полемику с преподавателем физики этой школы (потом выяснилось, что это был знаменитый "Костель") по поводу устройства аккумулятора. Я ему доказывал, что он ни черта не понимает в том, как устроен аккумулятор и какие процессы диссоциации-ассоциации там идут. Причем, я-то думаю, что я был прав, поскольку мне тут "свезло": я знал это и практически (со времен работы на заводе), и теоретически. Но он был преподаватель, а я учащийся, и поэтому мне поставили двойку, отметив мою наглость и мое нахальство при сдаче экзамена. Не было ни наглости, ни нахальства. Я просто отстаивал то, что считал правильным. В результате к экзамену по алгебре я уже подошел с хвостом условных троек. И на нем произошло самое неприятное событие: меня обвинили в списывании. Возник страшный скандал, где я обругал всех самыми последними словами - тут же, на самом экзамене. Я был демонстративно удален с экзаменов и стал наглядным примером плохой педагогической работы подготовительных отделений: мол, мало того, что получил сплошные двойки и толком ничего не знает, так еще наглец и нахал.

Это был очень тяжелый удар для всей семьи, но все были удовлетворены - и отец, и мать, поскольку я пошел на подготовительное отделение, ничего им не сказав и приняв решение сам. Они были против, считая, что нужно учиться, как все, и вообще быть нормальным, хорошим, советским парнем, а я вот вечно, с их точки зрения, выкидывал какие-то коленца. Поэтому отец был очень доволен и говорил: "Я же говорил тебе, что так будет, и вот я прав". Я же переживал случившееся очень тяжело.

Хотя вообще-то жил я в то время совершенно другими интересами. В конце восьмого класса я принялся писать всеобщую историю искусств, причем очень странным образом: старательно прочитывая энциклопедические статьи, я вырабатывал некоторую общую схему, или структуру, состоящую из огромного количества ячеек. Всеобщая история искусств должна была в итоге заполнить все эти ячейки и продемонстрировать ход и общую идею мирового развития. Вот на что уходило мое основное время.

В ходе работы я столкнулся с многочисленными ссылками на Маркса, Энгельса, на "Капитал" Маркса и решил, что должен проработать "библию" марксизма. Начал я где-то с лета 1944 года, между восьмым и девятым классами, перед поступлением на подготовительное отделение. В то время когда меня отчислили с подготовительных курсов и я решил вернуться в школу, в десятый класс, я добрался до третьего тома "Капитала".

Эта книга, с одной стороны, оказалась очень сложной, а с другой - совершенно меня захватила. Захватила первоначально своей логической формой, поскольку, конечно, содержание я не мог по-настоящему ухватить и оценить. Но сами синтаксические конструкции и мысль, которая через них просвечивала, меня буквально опьянили и целиком захватили.

Поэтому я начал работать очень странным образом: мой восторг перед книгой был таков, что я начал ее переписывать. Сначала просто выписывал особенно понравившиеся места, потом оказалось, что, для того чтобы все понять и освоить, надо переписывать все подряд. Я начал заполнять тетрадь за тетрадью переписанным от руки текстом "Капитала". Да еще завел тетради для вопросов и

примечаний.

Вот чем я занимался, возвращаясь домой после бурения или занятий на подготовительном отделении. Кроме того, в восьмом классе я очень серьезно занялся лыжами. Началось все с пустяка. Пришли к нам тренеры из "Динамо", которое находилось рядом со 150-й школой: "Кто пойдет в детскую секцию?" Лыжи я любил всегда. Отец поставил меня на лыжи, наверное, в четыре или пять лет, и все детство я катался на лыжах. У меня были замечательные финские лыжи - с ботинком прямо в лыже. Я и во время войны все время ходил на лыжах. В частности, бегал через Волгу в деревню, которая находилась на другой стороне, напротив Куйбышева. Там жил в эвакуации один из моих московских приятелей - Юрка Ярошинский.

Я начал заниматься в лыжной секции "Динамо" и уже в конце 1944 года стал чемпионом Москвы, показав очень хорошее время. Как в том, так и в следующем году выиграл все соревнования. Выступал и за МАИ.

Это было еще одно занятие.

Таким образом, формальная учеба, переписывание "Капитала" Маркса и лыжи - вот, собственно говоря, основное, что меня в тот период занимало. Наверное, это дало мне одно из очень важных качеств, в какой-то мере присущих мне и раньше, а именно умение и способность работать практически сколько угодно, бесконечно долго, если работа была интересной. Я мог переписывать "Капитал" по четырнадцать часов подряд. Все свободное время я тратил на это, бежал к работе над ним от всякого дела, и это стало для меня даже какой-то немножко маниакальной идеей... Как только мне удавалось освободиться, я садился за стол и начинал с упоением и восторгом эту, с внешней точки зрения, совершенно бессмысленную работу.

Провалив экзамены и получив удар по самолюбию, я твердо решил, что десятый класс во что бы то ни стало закончу хорошо. С такой мыслью я пришел в новую школу совершеннейшим паинькой, сел за парту и решил, что буду делать только одно - учиться, и учиться так, чтобы не получить ни одной четверки. До этого времени оценки меня вообще не интересовали; и хотя обычно я заканчивал год с четверками, но в течение года у меня могло быть все, что угодно: двойка - за невыученный урок, двойка - за халатность, двойка - за недисциплинированное поведение, потом пятерка, потом снова двойка, потом снова пятерка, а где-то четверки - все зависело от моих отношений с преподавателями.

Например, в восьмом классе преподавательница литературы, старый дореволюционный педагог, начала меня воспитывать. Я-то раньше думал, что пишу прекрасные сочинения, и это всегда отмечали все преподаватели, а она стала мне доказывать, что я пишу отвратительно. И хотя я воевал с ней, но всегда вспоминаю ее с большой благодарностью, потому что сама система жестких требований дала мне очень много в плане личностного роста.

Надо сказать, что все удары по самолюбию, по социальному статусу я всегда воспринимал очень своеобразно: они меня стимулировали доказать свою правоту, доказать, что могу, самоутвердиться. Я об этом сейчас говорю, поскольку еще, по крайней мере, лет десять моей жизни проходили под определяющим влиянием таких, может быть, чисто психологических, может быть, социальных, социально-культурных факторов. Я не очень понимаю, каковы они по своей природе, по своему характеру, но для меня они всегда были значимы.

Итак, я пришел в новую школу паинькой и решил доказать, что могу быть отличником. Задача была - учиться только на пять. А школа была серьезной, до войны правительственной (она располагалась в Дегтярном переулке, у площади Маяковского, там, где сейчас ресторан "Минск"). После войны она разделилась на две - мужскую и женскую. В нашей, мужской директорствовала заслуженная учительница Л.Мельникова. Учеников в десятом классе было сравнительно мало, человек 26-27, в основном из интеллигентных семей. И было много очень интересных преподавателей.

Помню физика, приходившего на занятия с часами типа шахматных, которые отзванивали через установленные промежутки времени. Он приходил на урок, раздавал нам задачи, а сам занимался с одним или двумя учениками, давая остальным возможность работать самостоятельно. Если он давал, скажем, двадцать задачек, то каждые две минуты часы тихонько дзинькали, и надо было подстраиваться под установленный темп, т.е. надо было за эти две минуты решить одну задачку и оформить ее решение.

Очень интересным был преподаватель литературы, профессор Московского университета, который параллельно вел занятия в школе. Он читал нам лекции по мировой литературе и заставлял писать сочинения на самые разные темы. Я завоевал у него доверие сочинением о театре времен Шекспира - вот какого рода темы приветствовались в этой школе.

Школа была из тех уже немногих школ, где сохранялся довоенный дух, т.е. в ней не было никакого особого порядка, жизнь текла по своей собственной колее. На переменах могло твориться все, что угодно. Директор школы сидела внизу, на первом этаже, но вот, скажем, когда она выходила из кабинета, то весть, что "Лида вышла и идет..." - пока не известно, куда, - сразу приводила всех в порядок. Она пользовалась абсолютнейшим авторитетом в школе. Однажды она вызвала меня к себе в кабинет и сказала: "Слушай, а как ты мог такое сделать?!" Речь шла о том, что якобы я кого-то очень сильно пихнул и он полетел с лестницы и сломал ногу. А ситуация была такой, что невозможно было понять: то ли я его пихнул, то ли мы все его пихнули, то ли он сам упал. "Как ты мог такое сделать?! Понимаешь, ведь он же убиться мог!" Это было сказано так, что я, по-моему, с тех пор ходил по школе с предельной осторожностью и боялся кого-то задеть. Она смогла передать значимость случившегося события, которое само по себе для меня, прошедшего школу диких драк и вообще черт знает какой жизни в эвакуации, не осознавалось и значимостью не обладало: ну, подумаешь, свалился с лестницы.

При сдаче экзаменов на аттестат зрелости мне таки удалось получить серебряную медаль. Серебряную - только потому, как объясняли преподаватели, что дать всем золотые было нельзя. Поэтому из двенадцати медалистов - что было явлением совершенно необычайным для класса из двадцати шести учеников - они должны были выбрать, кто какую медаль должен получить. Как сказал мне наш классный руководитель, было решено, что, поскольку я был в школе человек новый, справедливее отдать предпочтение старым ученикам. Я считал, что в принципе выиграл спор с родителями, и это было самым главным обстоятельством.

Ну а дальше началась уже очень серьезная и по-настоящему сложная жизнь на физическом факультете МГУ, и это в общем совершенно другая тема, требующая и другого обсуждения.

16 ноября 1980 г.

Когда я сейчас прослеживаю весь период моей учебы в школе и стараюсь понять, а что там было важного в плане моего развития, становления, формирования, то выделяю несколько моментов, в которых, как и во всем предыдущем, пересекаются общее, типичное и мое собственное, индивидуальное.

Наверное, самым главным моментом было то, что я постоянно менял место учебы. Второй, третий, четвертый классы - в одной школе, с одним коллективом, в одних условиях; пятый класс - в других; шестой, седьмой - уже в условиях эвакуации, в совершенно другой жизни. Следующая фаза - восьмой класс, 150-я школа, совершенно особый коллектив. Потом - подготовительное отделение МАИ. И, наконец, - последний, десятый класс. Итак, за девять лет я шесть раз менял место учебы.

Мне вообще представляется, что этот момент смены места учебы крайне важен в принципе для развития человека. Развитие - мы это хорошо знаем - идет и должно идти через определенные переломы. Человек в ходе своего ученичества и становления обязательно должен иметь возможность "оставлять хвосты" в другом месте и постоянно начинать жизнь снова. Я так думаю, что именно вот эта постоянная смена места учебы определяющим образом влияла на мое индивидуальное становление и развитие.

Этот процесс отражался на самых разных сторонах жизни. Прежде всего, он создавал совершенно другие отношения с коллективом и к коллективу. Я представляю себе людей, которые учились, скажем, с первого до последнего года в одном классе, в одной школе, как это было, например, у моего сына Пети. И я думаю, что уже одно это предопределяет известную консервативность мышления и сознания несмотря на весь тот путь, который проходит класс в целом от первого до последнего года ученичества.

Здесь, наверное, нужно отметить, что для моего поколения эта смена мест была в общем-то куда более типична, нежели, скажем, для следующих поколений. Жизнь была более динамичной; сейчас она, сравнительно с тем, что было тогда, очень консервативна. Но еще и сам я в этом процессе смены мест могу, наверное, считаться своего рода чемпионом: когда я перебираю в своем сознании людей, с которыми встречался потом, выясняется, что я раза в два чаще менял место учебы, чем они. В силу этого у меня никогда не было очень жестких связей с коллективом.

По году учебы в разных школах, точнее, в разных коллективах (шестой и седьмой классы хотя и в одной школе, но тоже фактически только по году в одном коллективе, потому что состав менялся непрерывно), - такой способ жизни в принципе не давал возможности войти в коллектив и осесть в нем, завязнуть в этих отношениях. Отсюда появлялась совершенно особая... пропорция, что ли, между индивидуализмом и коллективизмом. Этот момент я хочу специально подчеркнуть. В принципе, я коллективист и всегда был таковым, но именно эта установка на коллективное, общественное существование обеспечивала определенный индивидуализм, или независимость позиций.

И вот сейчас, вспоминая годы ученичества, я могу зафиксировать, что, собственно, и все



окружающие всегда так меня воспринимали: у меня вроде бы всегда была своя особая позиция, поскольку я был чужаком в каждом таком коллективе. Я приносил представления, нормы, обычаи каких-то других коллективов, другого способа жизни и в силу уже одного этого был своего рода катализатором новых, необычных для данного коллектива отношений, суждений.

И возникала очень сложная проблема соотношения коллективизма и индивидуализма. Мне представляется - правда, совершенно безосновательно, по чисто интуитивному, что ли, ощущению, - что вот это соотношение, эти пропорции между коллективизмом и индивидуализмом, которые как бы даже сами собой складывались в моей жизни, являются по-своему очень продуктивными и, может быть, наиболее благоприятными для становления и развития человеческого самосознания.

Еще один момент, кажется мне здесь важным. В силу самого этого процесса смены мест, условий жизни и учения я постоянно попадал в конфликтные ситуации. Опять же - не потому, что мне очень нравились эти конфликты, а в силу уже одного того, что я приносил с собой, в своем сознании, в своих привычках, другие способы жизни - другой школы, другого класса, другой среды. И поэтому оказывался в разрывной, конфликтной ситуации и должен был искать способы существования в этих условиях, поддержания себя, выхода из этого конфликта.

Опять-таки для нас сейчас вроде бы совершенно очевидно, что такое вот конфликтное существование и является наиболее благоприятным для формирования человеческой личности. Я постоянно проходил через эти конфликты - с коллективом, с администрацией школы, с преподавателями. И это всегда отражалось на моем положении в семье, на отношениях с родителями. Поскольку - и это опять-таки очень странная вещь, требующая теоретического обсуждения - семья у нас сейчас очень странным образом реагирует на конфликты ребенка в школе. Она очень часто выступает не как структура, защищающая ребенка и дающая ему основания, а как структура, странным и уродливым образом отражающая, несущая на себе, любые конфликты в школе.

Ведь если, скажем, что-то произошло и ребенок попал в конфликтную ситуацию, то... Ну тут разные есть способы... Но нередко ему сразу говорят: "Ага, ты такой-сякой, нехороший", - не очень разбираясь в том, а кто же, собственно, нехороший и почему, собственно, происходит этот конфликт, ибо, по сути дела, превалирует установка на то, что человек должен быть адаптирован, должен быть социально приспособлен. И если вдруг выясняется, что произошло что-то, где-то ребенок оказался неадекватным, где-то он вступил в конфликт, то виноват всегда ребенок, и первая наша реакция: "Ага! Вот так тебе и надо, мы же тебе говорили!"

Поэтому все конфликты в школе - все неудачи, все поражения, практически любая случайная двойка - находили отражение во взаимоотношениях внутри семьи и в появлении особой позиции, особой, если хотите, "нишки", ячейки, места в системе семейных отношений. Но при этом вот что мне здесь важно подчеркнуть: семья всегда была все-таки для меня защитой - не по отношению родителей, а скорее, по самому факту существования, по положению и статусу самой семьи в социальной иерархии.

И еще один момент представляется мне крайне важным, и вот здесь я подхожу к действительно очень каким-то важным, серьезным и глубоким вещам. Постоянно существовало различие, и даже не одно различие, а много различий в восприятии мира и самого себя, между собственным восприятием

и восприятием окружающих - преподавателей, родителей, товарищей, коллектива и т.д. Я думаю, этот фактор всегда был важнейшим, хотя тогда я этого не понимал и не воспринимал. Я лишь получал косвенные следствия из этого различия, этого разрыва между моим восприятием ситуации, самосознанием и тем, как это все воспринималось другими.

Здесь действовал один, а может быть, и не один, а несколько очень странных и причудливых механизмов. Я не могу сказать, что у меня было когда-нибудь заниженное восприятие самого себя - восприятие, каким оно выражается в действовании, - но у меня всегда был, по-видимому, недостаток самосознания, недостаток самооценки (что до сих пор остается для меня очень интересным и серьезным обстоятельством), т.е., грубо говоря, в самосознании я всегда характеризовал себя, по-видимому, ниже, чем меня реально оценивали и характеризовали окружающие. Другими словами, они придавали мне - моему существованию, моим действиям - большее социальное значение, чем придавал этому я сам.

Я считал свое поведение, свои действия обыденными, малозначимыми. Окружающие же придавали этому какое-то большее значение, и меня иногда очень больно задевали такие ситуации. Был, например, свободный урок в восьмом классе 150-й школы, и мальчишки не знали, как интереснее провести этот час. Естественное решение - ехать в женскую школу. Они отправляются туда, а мне это в силу каких-то определенных, случайных причин неинтересно, и я остаюсь заниматься немецким в классе. У ребят в той женской школе возникает конфликт. Директор школы пытается их как-то призвать к порядку, усюветить. Они ее толкают... Возвращаются назад. Оттуда звонят в нашу школу. Приходит классный руководитель. Начинается разбор всего этого дела. И почему-то острие оказывается направленным на меня. Классный руководитель обращает на меня весь свой гнев, ведет себя так, как будто я зачинщик, организатор, источник всех бед. И хотя я говорю, что я не принимал в этом участия, не ездил, сидел здесь, ей почему-то очень трудно в это поверить. И когда я прямо, в лоб спрашиваю ее, почему, собственно, она себя так ведет, то она, учитель еще старой, дореволюционной гимназии, отвечает: "У нас же вообще ничего не происходит без вас, без вашего плохого влияния".

Это меня очень удивляет и вместе с тем дает мне возможность понять, что классный руководитель неправильно оценивает социально-психологическую структуру коллектива. В классе происходит очень много событий, в которых я не принимаю участия... Причем класс довольно сложный, я же живу как-то между всеми этими коллективами, из которых он состоит. Но она явно преувеличивает значение моих действий, оценок, суждений.

Я привел лишь один пример, выпуклый по простоте, по банальности своей, но это все происходило постоянно, и я понимаю, почему учителя так говорили. Потому что были какие-то принципиальные вещи, которые меня задевали: например, распоряжение обрить всем головы, или, скажем, какие-то принципиальные оценки творчества того или иного писателя на уроках литературы, или отношение класса к военруку.

У нас был контуженый военрук. Я к нему относился с очень большой симпатией: мужик был не очень грамотный, но зато честный и искренний. Мальчишки издевались над ним. Один раз, когда один из них допустил совершенно бестактный поступок, я встал и прямо на уроке врезал этому парню по морде. Причем, так как он понимал, что "заработал", то не было даже конфликта - он просто принял

все как должное, и на этом ситуация закончилась. Наступила тишина, и урок продолжался. Класс вообще как-то начал переламываться в этом пункте. Но инцидент обсуждался на педсовете: учителя оказались перед сложной моральной проблемой - кого наказывать и за что.

Иначе говоря, случались события, которые вызывали очень активное с моей стороны действие, но каждый такой случай захватывал только один слой жизни класса. А масса была таких слоев, в которых я не участвовал, в принципе. Не участвовал в силу совершенно другой социокультурной структуры своей жизни. Ибо эта социокультурная структура была действительно другой.

Но я возвращаюсь сейчас к этому основному тезису: рефлексивно я всегда оценивал роль и влияние своих действий ниже, чем другие. С другой же стороны, когда дело касалось самого действия и самой деятельности, для меня вообще не существовало невозможного. Трудности всегда вызывали желание работать и преодолевать их - тогда-то и начиналась собственно работа.

Больше того, если возникала какая-то сложная ситуация, то я, даже не очень осознавая всех последствий, меры ответственности за то, что будет происходить, мог брать ее на себя. Причем происходило это всегда очень спонтанно. Насколько я себя помню, лет с четырех-пяти это всегда было так. Поэтому возникал очень... - странный или не странный, я не знаю, может быть, это и нормально, но вот сейчас мне хочется это отметить - разрыв между активностью действия и самооценкой в коллективе, относительно коллектива, относительно поведения, жизни. Можно, наверное, сказать, что у меня было огромное количество комплексов, но они не были комплексами в обычном смысле этого слова. Это, скорее, было ощущение, что я не могу того, другого, третьего, четвертого, пятого и т.д., что я все время в чем-то не дотягиваю.

Причем, лет до тридцати пяти это ощущение имело у меня характер личностного ощущения и потому заставляло постоянно строить способы жизни. Вот теперь оно, наверное, уже воплотилось в принципы деятельности и поведения и не затрагивает моей личности. И в этом смысле у меня нет комплексов и никогда их не было, хотя я только что говорил о комплексах. Это было ощущение именно того, что я не дотягиваю в одном, другом, третьем, но на личность это не переносилось. С тех пор как я себя помню, у меня были разделены эти два плана: с одной стороны, что я могу сделать и чего не могу, и с другой - каков я сам.

И это разделение существовало в очень странной форме, а именно: то, чего я не мог сделать, не касалось меня как личности. Если я не мог чего-то сделать, то это и означало только то, что я не могу сделать, а не то, что я такой-сякой и поэтому не могу этого сделать. Всегда существовала идея "покамест": вот я покамест не могу этого сделать, но если поработаю, то смогу.

Осознание того, что я чего-то не могу, выступало как стимул для делания, для тренировки. Если ты чего-то не смог, ты должен пытаться это сделать и тренироваться в этом. Но не для переноса в личностный план. Никогда это не было основанием для атрибутирования: вот ты такой - и все тут. Это не относилось к личности. В этом смысле точка зрения искусственного, или технического, была мне... - я понимаю, что здесь применяю натурализацию - она у меня была прирожденной, если хотите.

Вот это существовало всегда, с тех пор как я себя помню, как нечто совершенно естественное. И поэтому, действуя, совершая какие-то поступки, принимая на себя ответственность какую-то, я, будучи очень активным, никогда не фиксировал этого обстоятельства и этой стороны в самосознании,

не обращал эту активность на самого себя, не рассматривал все это как личное достояние и качество, как вообще что-то характеризующее меня.

Это я осознаю сейчас - в те же годы этого у меня не было. Больше того, меня это никогда не интересовало. Меня никогда не интересовал вопрос, как меня воспринимают другие, что другие по моему поводу думают. Я действовал, и у меня был свой мир. Меня вообще не интересовал вопрос, что я сам несу и как. Больше того, сейчас мне так трудно обсуждать этот круг вопросов, поскольку я, может быть, впервые обращаюсь к себе лично. Этого никогда прежде не было.

Если я и продумывал свое поведение, свои действия, свое место, то это были чисто деятельностные представления: каковы мое место, мои функции при осуществлении этой деятельности, при достижении этих целей, при решении этих задач? что я должен делать? Но никогда в модальности "каков я сам?". Это всегда была модальность долженствования: что нужно сделать, каким я должен быть для того, чтобы мы могли достичь определенного результата.

И только сейчас я впервые начинаю обсуждать эти вопросы в личностной модальности - в связи с продумыванием нашего разговора. Передо мной встает целый ряд вопросов, касающихся условий, обстоятельств существования личности, границ между деятельностью и личностью, - вопросов, интенционально отнесенных к себе самому, а не к чисто теоретической плоскости или к другим людям. Я мог обсуждать других в такой модальности, разделять их реальное объективное действие и план их самосознания, их представления о самих себе, самооценку и т.д., но к себе я никогда этого не применял: это в принципе было мне не свойственно.

- Георгий Петрович, а что это за граница - "тридцать пять лет"?

Может быть, ее и не было, этой границы. Сейчас я ответил бы Вам так. Я сказал "до тридцати пяти лет", поскольку это связано с сугубо личными вещами, и в первую очередь, наверное, с отношениями между мной и Галей. Потому что, когда, готовясь к одной из наших с Вами первых бесед, я задал себе вопрос: а кто оказал на меня самое большое влияние, кто вообще был для меня наиболее значительным в моей личной жизни, то я, собственно говоря, смог назвать трех или четырех человек всего.

Среди них - Петр Алексеевич Шеварев, хотя это и может показаться странным. Но дело в том, что он оказал на меня влияние не как ученый, а как личность, как тип ученого. Его научную работу я не оценивал высоко, я всегда считал этот путь, которым он шел, и тупиковым, и устаревшим, но лично он оказал на меня большое, так мне кажется, влияние.

Огромное влияние, конечно, на меня оказал Александр Александрович Зиновьев. И еще - Галя Давыдова ???(жена. Ред.). Вот, наверное, и все.

Дальше уже был совершенно другой круг отношений это взаимоотношения с учениками. И эти взаимоотношения тоже играли большую роль. Опять-таки это тоже очень странная вещь, об этом можно поговорить дальше, в соответствующем месте... Не столько эти люди, ученики, сколько отношения с ними. Здесь тоже есть масса тонкостей, и поэтому, когда я сейчас сказал о тридцати пяти годах, я имел в виду решение одной очень как будто бы важной проблемы.

Понимаете, человек в своем развитии до какого-то момента ищет "Великий Рим" - то, где

существуют наивысшие образцы человеческого существования, образцы самих людей. А вот где-то лет в тридцать пять я понял, что эти образцы, по-видимому, заключены в членах самого Московского методологического кружка и в том, что мы сами творим.

Это был момент, когда я осознал, что... Я не знаю, правильно или ложно, - меня сейчас это не интересует, - но я пришел к выводу, что наш коллектив, Московский методологический кружок, это и есть то высшее в каком-то смысле, чего достигло человечество. И с этого момента проблема "Великого Рима" исчезла, ее решение я сформулировал очень четко: "Великий Рим" заключен в нас самих, мы и есть "Великий Рим".

А на том этапе, о котором я рассказываю, у меня вообще не было такой проблемы. Я сейчас пройду ее еще раз, по более глубокому слою.

Как я только что говорил, существовал очень большой разрыв между моим восприятием окружающего и моей оценкой самого себя, с одной стороны, и восприятием окружающего и оценкой меня другими людьми - с другой. При этом я еще фиксирую разрыв между миром действия и миром самосознания, сознания собственного "я". Я подчеркиваю очень большую активность, хотя и весьма избирательную, уже в это время, т.е. начиная примерно с шестого класса; в этом смысле граница между пятым и шестым классами или, может быть, между первой и второй половинами шестого класса проходит очень четко.

До этого момента у меня не было никакой избирательности и не было жестких фильтров. Я принимал все, всякую жизнь - мне все было интересно. А после этого весь мир для меня поделился на значимые и незначимые части. Я отсекал массу вещей, причем отсекал очень жестко, сознательно, целенаправленно. У меня возникали многочисленные конфликты с семьей по этому поводу. Ну, например, я отказался от участия в семейных посиделках, никогда не ходил ни на какие дни рождения. У меня существовал конфликт с родителями, поскольку они говорили, что это необходимо, а я отвечал, что я все равно ходить не буду, мне скучно, мне этот мир представляется пошлым, ханжеским в известном плане, что у меня очень мало времени.

Так я массу слоев отсекал. Я никогда не участвовал, скажем, в школьных вечеринках, я никогда не участвовал в обсуждении взаимоотношений с девочками, я никогда не обсуждал жизнь как таковую, не теоретизировал. Я фактически коллективные оценки и взаимооценки вырубал, хотя я признавал другое, например принципиальное обсуждение друг друга вдвоем - с людьми, которых я любил и которым доверял. Эти обсуждения были невероятно жесткими и, так сказать, совершенно открытыми - можно было говорить друг другу все, вплоть до самых резких вещей, осуществлялась предельно резкая критика и самокритика в отношении экзистенциальных ситуаций, где совершались поступки, действия. Этот мир нравственного самоусовершенствования, самооценок, моральной критики существовал, но он был вынут из системы социальных, коммунальных отношений, он был канонизирован сам по себе.

Итак, были очень четкая избирательность и четкая дифференциация слоев жизни, одни из которых я для себя принимал и в которых был активным, другие же просто отрубал, считая их вообще незначимыми. Наверное, с седьмого класса для меня любимым стало выражение Салтыкова-Щедрина: "Есть жизнь, а есть концерты". Вот в "концертах" я принимать участия не хотел. И это началось очень рано: помню, когда я был в седьмом классе, это отношение было уже совершенно

отчетливо сформулировано. Но хотя в мыследеятельности была большая активность, в самосознании, как я теперь понимаю, я не фиксировал своей роли, своей значимости для каждого такого маленького коллектива - так, как на это реагировали окружающие. Я всегда занижал свою роль, свое значение, точнее, не занижал, а просто игнорировал эту сторону дела и этот аспект.

Отсюда вытекает, между прочим, следующее очень интересное обстоятельство: как я теперь понимаю, я всегда был асоциален в этом смысле, хотя в некотором другом смысле всегда был фактически, наоборот, очень социален. Больше того, я знаю, что уже с восьмого класса, по крайней мере, способы моих действий были очень значимыми для окружающих. Это я уже сказал в прошлый раз: уже тогда мое поведение для многих стало превращаться как бы в загадку. И поэтому часто многие люди в прямой, а чаще в косвенной форме задавали мне вопросы, почему я веду себя так, как я себя веду, и что, собственно говоря, я делаю.

Уже тогда, с восьмого класса, это начинает превращаться в своего рода проблему. Я был социально неадаптирован, и проистекало это отчасти из того, о чем я говорил раньше, - во всяком случае, одно теснейшим образом связано с другим. По-видимому, эта социализация связана с самооценкой, с определением роли, функций своего "я". То и другое шло параллельно, а именно: я не очень-то интересовался тем, как я вхожу в коллектив, какое место я там занимаю, соответствую ли я ему или не соответствую, - я просто входил в него и делал то, что считал нужным. Это много позже стали фиксировать в разных образах. Скажем, Эрик Юдин называл меня "танком" или "солдатом в грубых сапогах", который "топчет" ситуацию. Галя, скорее, представляла себе меня в виде "быка" и в 1963 или 1964 году подарила мне фигурку быка, сказав, что это я такой. Быка с наклоненной головой, готового забодать каждого ...

Нельзя опять же сказать, что это было пренебрежение ситуацией, социальной структурой коллектива, - просто невнимание и отсутствие представлений об этой стороне дела. Я не знаю, насколько этот аспект значим для молодых людей, для детей, для какого возраста в какой мере значим. Думаю, это одна из интереснейших тем для социально-педагогических исследований. Я сейчас говорю только о собственном поведении, собственном мирозерцании, мироощущении.

Так вот, для меня коллектив как таковой и социальная структура коллектива никогда не существовали как предмет размышления: меня это не интересовало. Я был невнимателен к этому. И поэтому все образные характеристики, которые мне давались, были справедливы, т.е. я мог "топтать" отношения людей, я вел себя так, как будто я был сильнее этой структуры и уж во всяком случае совершенно независим от нее. Я мог вести себя - и так было лет до сорока пяти, - не считаясь с ней. Я был настолько уверен в своих силах, в своей свободе, в своей мощи, в своих возможностях, что в принципе мне вроде бы и не надо было с социальными отношениями считаться. Но не потому, что я это осмыслил, осознал и решил, что я такой, нет, я вот просто с этим не считался. Не считался по наивности, глупости, может быть, но таковыми были мое мироощущение и соответственно мое поведение.

Поэтому реально я всегда оказывался либо вне ситуации, либо не столько в общей ситуации, сколько в своей собственной, и я в этом смысле всегда эту ситуацию формировал. Я в любой коллектив вносил свою собственную ситуацию и жил по ее законам.

Но тут возникает следующий, самый сложный вопрос: что же это была за ситуация? И сейчас,

размышляя над всем этим и опираясь на последние наши представления, полученные благодаря играм в Новой Утке (ОДИ-1), я могу зафиксировать это как очень сложный разрыв между действительностью моего мышления и реальностью моей жизнедеятельности.

В основе этих соображений, к которым я и перехожу, лежит то очень резкое разграничение мира мышления и мира деятельности, или мыследеятельности, которое мы сейчас в семинаре и играх прорабатываем. Оно дает мне некоторый ключик, с одной стороны, для объяснения моего прошлого, а с другой - для постановки целого ряда вопросов, касающихся воспитания и обучения. Но сначала несколько предваряющих замечаний.

Вообще-то говоря, как я теперь понимаю, функциональное различие и противопоставление мышления и деятельности было зафиксировано давным-давно. Изучая историю философии, изучая предметы деятельности, мышления и т.д., я прошел мимо этого, я этого не заметил или во всяком случае не помню. Я должен сейчас вернуться назад и постараться разобраться, по крайней мере, проглядеть еще раз классиков философии, чтобы выработать свою определенную точку зрения. В 50-60-е годы и даже в первой половине 70-х мне казалось, что, задав представление о мышлении как о деятельности, я тем самым снял проблему мышления, задал такие формы для описания мышления, которые позволяют адекватно фиксировать эту сложность. Но теперь я понимаю, что при этом я не ухватил основного, а именно функциональной оппозиции между разными типами мышления, и не увидел сложности тех многообразных отношений мышления к деятельности, в частности к ситуации деятельности, которые реально существуют.

Поэтому я думаю, что хотя само по себе это различие и не ново, но сейчас для меня оно очень значимо и позволяет разъяснить многое из того, что происходило. Если вы теперь вспомните все то, что я говорил о своей семье, об условиях моего развития, то сможете заметить, что у меня сформировался очень резкий разрыв между тем, что я осваивал как культурно данное, и тем, что относилось к моей жизнедеятельности. Думаю, отходя чуть в сторону, что это вообще есть некоторый характерный момент существующих сейчас форм образования. Я позволю себе обсудить это, чуть теоретизируя.

Если ввести предельно упрощающие абстракции, то, наверное, надо и можно было бы сказать, что всякий человек приобретает свои основные знания из опыта жизни. И нужно-то ему в качестве знаний, представлений только то, что соответствует опыту его жизни и всем тем ситуациям, в которых он осуществляет свою непосредственную жизнедеятельность.

Но то, что мы сейчас получаем через культуру, через систему образования, в частности через принятую в нашей стране в начале 30-х годов систему среднего образования, принципиально не соответствует тому, что нужно в ситуациях нашей жизнедеятельности, т.е. принципиально не соответствует всему тому, что мы приобретаем в опыте нашей жизни. И вот этот разрыв между тем, что несет культура через зафиксированную систему образования, и тем, что мы обнаруживаем в опыте жизнедеятельности, и есть, может быть, основной момент, определяющий формирование, становление и развитие многих поколений России начиная с 20-х годов XIX столетия и до сегодняшнего времени.

Причем, как я теперь понимаю, это было предметом забот и размышлений многих людей, и в частности тех, кто отвечал все это время за систему народного образования. Реформы системы

образования, которые проводились в 20-е годы нашего столетия - идея единой трудовой школы Блонского, идеи направления "жизнь есть школа", идеи дальтон-плана, комплекс-плана и т.д. - были стимулированы и определены фиксацией разрыва между тем, что несла традиционная культура, в том числе культура обучения и воспитания, скажем, в церковно-приходских, земских, уездных училищах, в гимназиях, в реальных, коммерческих и епархиальных училищах и в университете, и тем, чего требовала все время меняющаяся социальная жизнь. Эти два момента до сих пор не приведены в соответствие друг с другом, что, кстати, и является одним из источников современного социального развития и всех коллизий, которые мы наблюдаем.

Короче говоря, культура как данность и система освоения этой культуры, или приобщения к культуре, дают такой запас средств, который совершенно не соответствует тому, что нужно для жизни, для социальной жизни, причем, не соответствует и в плане недостатка, и в плане избытка. И избытка, кажется мне, больше, чем недостатка, - вот что важно. Я не оцениваю ни один из этих моментов относительно другого и не говорю, что, скажем, жизненные ситуации плохи относительно культуры или что культура плоха относительно жизненных ситуаций. Я говорю: между ними - разрыв, они совершенно разные, это два принципиально разных мира ситуаций, и каждый из нас - а ко мне это уж точно относится - живет в этих разных мирах одновременно, и они не соответствуют друг другу.

Один мир - это ситуации мыслительной действительности, или действительности мышления и знаний о мире как таковом, другой мир - это действительность ситуаций непосредственной жизнедеятельности. Но в это надо еще вдуматься, потому что здесь масса очень сложных аспектов. Фактически, любой человек имеет два опыта: опыт свой собственный, индивидуальный, и опыт общечеловеческий, опыт той группы, страты, класса, к которым он себя причисляет. И в том, как он реагирует на те или иные ситуации и обстоятельства, как он ведет себя в тех или иных ситуациях и обстоятельствах, очень многое определяется не его индивидуальным опытом и не тем, что мы отнесли бы к нему лично, а его стратовой, классовой принадлежностью, его классовой позицией, его стратовой позицией, его групповой позицией и т.д.

И эти разные ситуации очень сложно взаимодействуют друг с другом. Я уже, как вы видите, немножко сдвинул то, что обсуждал чуть раньше, потому что здесь несколько аспектов и все это поворачивается несколькими разными гранями. Одно дело, скажем, взаимоотношения между опытом индивидуального действия и культурой - это должно рассматриваться в одном плане, другое - проблема моего собственного опыта и нашего опыта, третье - ситуативная рефлексия.

Ну вот теперь я перехожу непосредственно к себе, к трактовке своего прошлого. Итак, действительность моего мышления была задана и определена чтением большого количества книг - от Диккенса или даже, может быть, от Вальтера Скотта, Жюль Верна, Джека Лондона, Фейхтвангера до Лависса и Рамбо - и формированием собственных представлений на основе этих и многочисленных других исторических книг, которые, по-видимому, были для меня очень значимыми. Здесь нужно назвать даже книжку Антоновской "Великий Моурави", которую я не просто читал, а прорабатывал чуть ли не так же, как прорабатывал "Капитал" Маркса.

И это все была действительность моего мышления, и там существовал свой мир оценок, и, наверное, там, в действительности мышления, существовало мое представление о самом себе и о своей



личности. Но моя личность мною представлялась не в реальности ситуаций, в которых я на самом деле жил - двора, семьи, класса, школы, спортивной школы, непосредственных товарищей, а в действительности истории. Вот там и должна была помещаться, наверное, моя личность; там я, наверное, представлял ее себе каким-то образом, ну, может быть, не ее, но, во всяком случае, то, что должно быть сделано и совершено мною.

Это, кстати, очень странным образом проявлялось (я чуть дальше расскажу об этом) в моих поступках, которые тоже, по-видимому, казались невероятно странными для окружающих в то время. Там были смешные вещи, и вы увидите это.

Итак, значит, была эта действительность моего мышления и даже моего призвания, предназначения или еще чего-то. А с другой стороны, были - всегда локальные, узкие, коммунальные, если хотите, - ситуации реальной жизни, где надо было отвечать какими-то поступками на действия других, скажем, драться или, наоборот, убегать, реагировать на что-то, или наоборот, не реагировать, исключать, определять, оценивать. Где надо было делать уроки, вести общественную работу и т.д.

И это каждый раз создавало совершенно особый мир жизненного опыта. Какого? Вот вопрос. И вопрос этот приобретает особое значение в связи с сопоставлением одного мира, заданного действительностью мышления, чтением книг, проецированием себя в историю, с другим - миром повседневной жизни. Собственно говоря, весь вопрос заключается в том, какими маркерами отмечает каждый человек то и другое, что для него является подлинным миром. И даже если для него оба эти мира подлинные, т.е. он живет с открытыми глазами, то ведь еще вопрос: как эти два мира у него сочленяются и сочетаются друг с другом? Можно, например, вообще не придавать никакого значения всему тому, что ты читал, и всему тому, чему тебя учили. Так, естественно, и поступает, как я сейчас знаю после опыта работы преподавателем в высшей школе, большинство молодых людей. Они просто отбрасывают все то, чему их учат, все то, что они читают, как не имеющее жизненного значения, и замыкаются в своем маленьком мире повседневного опыта.

Студенты, например, - и это меня поразило - твердо знают, что им нужно и чего им не нужно. И они ставят такие фильтры, которые освобождают их от всего лишнего, с их точки зрения. Они просто все это отбрасывают. Так они создают свой замкнутый, маленький мирок. Вот видите, я воспользовался штампом, и это говорит о том, что, по-видимому, другими людьми это положение было осознано, и давно, но я-то осмыслил это все впервые, только тогда, когда начал размышлять об этом...

Итак, весь вопрос заключается в том, какое отношение устанавливается между этими двумя мирами: что с чем мы соотносим, и какой из этих миров мы считаем главным и определяющим.

Я уже сказал, что люди современного мне поколения, причем и интеллигенты в том числе, превалирующим и определяющим считают мир реальных ситуаций. Вот, например, для меня было совершенно удивительным и странным понять, что для Радзиховского, который занимается историей психологии, главным и определяющим являются сиюминутные ситуации. Я мог бы сказать теперь, что и для Бориса Михайловича Теплова главным и определяющим были сиюминутные ситуации, и для Алексея Николаевича Леонтьева - и это несмотря на то, что он просил записывать его слова и вообще делал вид, что он работает на историю и для истории, но на самом деле он всегда жил в этих локальных, коммунальных, политических ситуациях.

Именно поэтому современные поколения являются принципиально аисторическими. Для них не существует ни исторической действительности, ни их собственного действия в истории. Про себя я могу сказать очень твердо: для меня - это можно рассматривать как уродство моего воспитания - определяющей и единственно реальной действительностью всегда была действительность исторического существования человечества. И вот для себя, в своих собственных проектах, устремлениях, ориентациях, я существовал только там, и только тот мир, мир человеческой истории, был для меня не просто действительным, а реальным миром, точнее, миром, в котором надо было реализоваться.

Кстати, для многих и многих моих сверстников и соучеников на философском факультете (но не на физическом - мы до этого еще дойдем), для многих студентов философского факультета дело обстояло точно так же. Для Давыдова, Ильенкова, Зиновьева, Мамардашвили и для многих других (я называю только некоторых для примера) вот такой определяющей действительностью, куда они помещали себя и где они существовали, была историческая действительность. У меня же это представление о себе было изначальным в силу положения семьи. Я по происхождению принадлежал к тем, кто делал историю. Все мое семейное воспитание, образование фактически наталкивало на это.

Чуть в сторону: у нас с Мерабом Мамардашвили до сих пор, вернее, до самого последнего времени, происходили дискуссии на эту тему. Он-то в принципе не признает такой точки зрения как рефлексивно осознанной, он борется против нее, говорит, что "это все ерунда и фуфло", хотя сам он, как я его понимаю, и действует, и живет во многом именно в исторической действительности.

Интересно отношение Василия Давыдова. Пока он вроде бы "обсуждает вопросы" и т.п., он все время фиксирует ситуативную точку зрения, подчеркивает ее приоритет, но когда он становится как бы самим собой, т.е. человеком, выходящим за пределы своего директорского кресла, он обсуждает одну проблему - насколько каждому из нас и всем нам, нашему поколению, удалось, как он говорит, "реализовать себя". Но ведь само это понятие "реализовать себя" обязательно предполагает историческую рамку. Здесь отступает на задний план проблема занятого места - кто есть кто. И хотя это тоже играет какую-то роль и должно оцениваться, но проблема реализации себя может рассматриваться лишь в контексте предельно широкой исторической действительности.

Так вот, эта установка, эта позиция владела мною. Я не говорю, что она была моей, точнее будет сказать: я принадлежал ей. Принадлежал прежде всего в силу воспитания, семейной традиции, хотя многие из тех, кто мне ее передавал, и в частности отец своей работой, не владели ею в сознательном плане, т.е. для них она не была осознанной позицией и целевой установкой их жизни. Это было то, что реально проходило через них, поскольку они были поставлены на соответствующие места. Поставлены, попадали, вставляли сами. Во мне же это - и я подчеркивал эту разницу между деятельной позицией отца и моей позицией невольного созерцателя на первых этапах - с самого раннего детства "зрело" как сознательная позиция. "Сознательная", кстати, не значит "отрефлектированная, осознанная и перенесенная в личностный план". "Сознательная" означает, что я это осознал и в этой действительности жил, а все те ситуации, через которые я проходил в своей жизни, были лишь временными обстоятельствами, через которые надо было себя пронести.

Поэтому уже в последних классах школы я, действительно, не столько воспринимал эти ситуации,

сколько проносил себя через них и готовился к ситуациям совершенно другого типа. И в этом смысле школа и учеба в школе никогда не оценивались мною как что-то подлинно значимое и действительное. Отсюда, как мне кажется, следует объяснение буквально всех моих поступков и действий во время учебы в школе, а особенно в университете - на физическом факультете, потом на философском, и даже характера самой учебы.

В восьмом или девятом классе я прочел книжку Жюль Валлеса. Жюль Валлес написал несколько прекрасных книг, в том числе "Инсургенты", очень интересную автобиографическую вещь. Этот человек жил для революции, во имя революции. Он принимал участие в революциях 1870 и 1871 годов, может быть, и 1848 года, этого я толком не помню сейчас; но в его жизни было несколько революций, и он, собственно говоря, жил для того, чтобы участвовать в них, а время между ними было лишь ожиданием и сохранением себя для этого. Эта книжка тоже произвела на меня огромное впечатление и запала в мою душу какими-то своими сторонами. Но не в том смысле, что я решил стать революционером, нет, она имела куда более общее значение. Важно, что она дала мне культурную форму для фиксации того, что во мне уже было, - отношения к коммунальным ситуациям, через которые я проходил, как к каким-то незначущим, вторичным, временным ситуациям.

И вот это, как я уже сказал, объясняет, почему у меня складывалось то или иное соотношение между тем, что я извлекал из ситуаций, и тем, что формировалось при чтении книг, через чистое мышление. Можно было бы сказать, что я формировался через чтение, через мышление, а не через опыт жизни. По отношению к опыту жизни я тогда был и потом, кстати, оставался непроницаемым или избирательно проницаемым. Во всех этих ситуациях меня всегда интересовало только то, что было значимо для достижения моих конечных целей и задач.

- Вы не боялись этих ситуаций?

Я уже сказал, что не боялся их в силу своего положения и мощи, хотя все время шел по грани, т.е. всегда, начиная с тринадцати-четырнадцати лет, доходил до предела. Я думаю, что во многих случаях меня спасала принадлежность к семье. Попросту говоря, меня арестовали бы, и я бы сгинул, если бы это не затрагивало семью, не поднимало бы кучу более сложных для партийных властей вопросов, т.е. мне, может быть, прощали такие вещи, которые не прощались другим, или делали вид, что ничего не замечают. Потом я уже научился выходить из этих ситуаций, и притом осознанно. На философском факультете я это уже понимал достаточно отчетливо. Поэтому для меня уже тогда существовала проблема хождения по грани, или достижения максимально возможного. Я это сформулировал себе как проблему и выработывал соответствующую тактику и стратегию. Но возникла эта проблема, еще когда я был на первом курсе физфака. Я дальше буду рассказывать подробнее, а сейчас я подготавливаю Ваше восприятие к слушанию и пониманию этого.

Целый ряд событий произошел уже в школе. Вот об одном из них, несколько смешном, я вам расскажу.

Отец тогда работал директором очень крупного института в системе авиационной промышленности, который назывался Оргавиапром (Организация авиационной промышленности). Он находился в здании на Петровке, рядом с рестораном "Будапешт", только с другой стороны - такое круглое с колоннами большое серое здание. В 20-е годы там размещался ЦИТ (Центральный институт труда), созданный Гастевым, учеником Богданова, потом там был большой трест, который преобразовали в

1943 или в 1944 году в Оргавиапром. Ездил отец тогда уже на ЗИСе, была такая длинная машина, что свидетельствовало о подъеме его ранга и статуса - фактически это была тогда лучшая машина. И занимался организацией авиационной промышленности.

Естественно, что я узнал от него, как поставлены у нас технологии. Нередко отец говорил, что главная проблема нашего дальнейшего развития - это проблема технологических линий и специализации. Вообще, послевоенный период был очень сложным. Как в 60-е годы, в годы косыгинской экономической реформы, так и тогда, в 1945-1947, обсуждался вопрос (впрочем, как он обсуждается и сейчас, и будет обсуждаться всегда), как жить дальше. Существовали разные точки зрения. Но фактически уже тогда выдвигались идеи (те, которые выдвигаются и сейчас) предоставить большие права директору - дать ему возможность поднимать заработную плату, сокращать число рабочих, создавать, так сказать, небольшую открытую безработицу, чтобы избавиться от скрытой безработицы и т.д., - и добиться специализации и сложной кооперации заводов. У нас ведь в 30-е годы был принят принцип автаркии, когда каждый завод делал для себя все. Авиационный завод производил абсолютно все, что требовалось для его работы, включая газ для сварки ацетиленом. И до сих пор это так и остается.

Отец говорил мне о том, что дальше страна не может так развиваться, поскольку требуются жесткая специализация, повышение производительности труда и т.д. И вот когда я учился в десятом классе, к нам (а я вам говорил, что это была правительственная школа) пришел корреспондент, чтобы познакомиться с целями, перспективами выпускников школы. Нас по одному вызывали в директорский кабинет, и мы рассказывали, кто кем хочет быть и почему.

Я очень бодро рассказал, что собираюсь (это было скорее всего в начале года) идти в Московский авиационно-технологический институт, поскольку главная проблема дальнейшего народно-хозяйственного развития нашей страны - это проблема технологий. Это решающий путь - станки, технологии. Обратите внимание, я говорил не о том, что меня интересует, а о том, куда я идти должен, чтобы заниматься самым главным делом. Поскольку мы сейчас, - сказал я корреспонденту, - очень сильно отстаем, скажем, от Соединенных Штатов Америки, то дальше на этих принципах наша страна начнет не то что догонять Америку, а вообще быстро деградировать и разваливаться.

Теперь-то я понимаю: он смотрел на меня совершенно испуганными глазами. Он только спросил меня тихим голосом, откуда я все это знаю. Я ему объяснил, как и что. И он, по-моему, был напуган даже не столько тем, что я говорил, сколько тем, что он присутствовал при этом.

Ведь школа-то была правительственная, и там учились дети довольно высокопоставленных людей. Ну, например, учился сын нашего посла в Германии, были дети министров и замминистров. Все они были в общем достаточно информированными и понимали что к чему. Но вместе с тем они-то были социальны. Они рассказывали корреспонденту, что их интересует, кто куда хочет идти учиться или работать... Потом, когда была опубликована эта корреспонденция, я был немного удивлен, потому что там было сказано о многих, но совершенно отсутствовало то, о чем ему говорил я, и вообще я там не фигурировал, хотя мне казалось, что я очень разумно отвечал. Но мои слова и действия были, наверное, совершенно дисфункциональны, асоциальны.

У меня же - и тут я был предельно наивен - существовало именно такое представление. Оно было, с одной стороны, узко стратовым, поскольку я знал такие вещи, которые в принципе были мало кому

известны. Речь идет не о политике, а, скажем, о соотношении советской авиационной техники и американской, немецкой и прочей, поскольку я читал в то время, так, между прочим, все закрытые пресс-информации по зарубежной технике и ее соотношению с нашей. Это были сведения только для служебного пользования, если не секретные. Я все это читал, находился в курсе дела, знал реальные уровни производительности труда по всем странам и вообще, так сказать, обладал какой-то информацией. С другой стороны, я действительно был идеологизирован, был марксистом и идеологом к тому же. Идеологом в том смысле, что жил в этой идеологии, мыслил в исторических представлениях и т.д.

Я привел лишь один такой пример, для того чтобы в общем плане пояснить, о чем я говорю. А такие случаи повторялись, наверное, постоянно, свидетельствуя о моей дисфункциональности. Ну, например, я мог тогда в узком кругу рассказывать, скажем, историю становления и развития партии большевиков - какой эта история была по-настоящему, на самом деле, потому что дома на полках, так, между прочим, где-то сзади хранились разные книги по истории партии... Например, стояло первое издание Большой Советской Энциклопедии, где была статья Бубнова "ВКП(б)", проработанная мною досконально. Или "Очерк истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)" Попова (1931 года издания).

Я все это знал, причем знал "живым" образом. Людей, которые там еще назывались, а потом уже в энциклопедии не попадали, я многих видел. Они приходили в наш дом, они были для меня живыми, реальными людьми, поскольку и дядьки мои, и тетка работали непосредственно с Лениным и Троцким и с другими. Они были из самого ближайшего к партийной верхушке круга. Поэтому все это имело для меня совершенно живой смысл. Я обо всех них говорил как о людях, которые живут для меня не только в действительности истории, но и коммунално, в жизненных ситуациях.

Теперь вы понимаете, что я мог, собрав маленький кружок, рассказывать что-то из истории партии. Причем, мне не надо было для этого готовиться - я рассказывал об этом как о событиях, в которых как будто принимал участие.

И я снова возвращаюсь к основному вопросу, который я затронул: как же соотносятся эти два мира? Наверное, это и сегодня основная проблема теории обучения и воспитания, поскольку, повторяю, та система знаний и представлений, образцов отношений, деятельности, поведения, которая дается в культуре и передается нам через существующие системы обучения и воспитания, до сих пор, а в те годы в особенности, совершенно не соответствует опыту индивидуальной, личной жизни. В личной жизни мы попадаем в какие-то маленькие ситуации, в которых все зависит от характера наших отношений, нашей реальной способности действовать, от характера самой этой ситуации, от ее объектов, ее коллизий; и действовать-то - мыследействовать, как сказал бы я сейчас, - мы должны в этих ситуациях соответственно им и соответственно занимаемому нами положению.

А как при этом присутствуют и как при этом действуют наше знание истории и наше второе, историческое, самосознание, представление о своем призвании и т.д.? Они всегда каким-то сложным образом взаимодействуют, всегда как-то сложно друг на друга накладываются. Но как? Наверное, у каждого человека по-своему. Это зависит от его личной истории, семейного воспитания и образования, от его стратического самосознания: кем он себя по происхождению мыслит, как понимает свое предназначение и призвание, к чему, собственно, готовится.

Надо сказать, что здесь очень много и индивидуального, и типичного. Так, в десятом классе я учился с сыном одного из создателей Коммунистической партии Чехословакии. Совершенно ясно, что он каким-то образом осознавал себя, должен был осознавать в силу сложности своей позиции. Я учился с сыном члена тогдашнего ЦК германской компартии, и опять-таки в силу этих обстоятельств он должен был себя каким-то образом представлять и оценивать. Я это говорю для того, чтобы подчеркнуть, что я не один был такой, что это было характерно для нашего поколения вообще и для учеников этой школы в особенности.

И вместе с тем было что-то сугубо индивидуальное во всем этом. Может быть, соотнесение себя с историей у меня было выражено ярче, чем у других. И больше того, это уже тогда очень резко склеивалось с моими жизненными ситуациями. Я ходил в школу, ходил на занятия в МАИ, на подготовительное отделение, но все равно я это ощущал и относился к этому, как к чему-то временному. Все это рассматривалось либо как способствующее моей дальнейшей жизни, либо как помехи к этой дальнейшей жизни. Придя же домой, я садился за свой письменный стол, за книги, за переписывание "Капитала" Маркса или за чтение каких-то исторических исследований - и даже за чтение книг по физике и математике - с твердым пониманием и знанием одного: я все это должен освоить и знать, для того чтобы иметь большую мощь действия в будущем, в той исторической действительности, в которой я сам себя мыслил. Вот это присутствовало все время.

- Вы видели свой будущий образ?

Нет, я не видел своего образа в этом смысле. Ведь когда я рассказывал, что собираюсь заниматься технологиями и поэтому хочу учиться в Московском авиационно-технологическом институте, то я мыслил себя иначе, чем это получилось уже через год. Но я все равно мыслил себя в истории активным строителем. Я могу сказать "активным строителем социализма", могу сказать "активным строителем жизни" - всей. Я должен был продолжить традицию семьи. И опять-таки я уже в те годы считал себя ответственным за все то, что происходило, что требовало во многих пунктах исправления, именно в силу того, что отец мой был строителем социализма, а дядьки в какой-то мере, как я это тогда понимал, участвовали в создании партии. Поэтому я считал, что я обязан доделать то, что они не доделали, исправить то, что они сделали неправильно. В моем тогдашнем представлении это все ложилось на мои плечи.

По-видимому, это обстоятельство и создавало ту асоциальность, о которой я вам говорил, те странности, на которые обращали внимание мои товарищи. Они порождали те конфликты, о которых я вам частично рассказывал и буду рассказывать, потому что они расцвели пышным цветом в университете. Там, собственно, и начала разворачиваться реальная коллизия, подготовленная всем предшествующим.

Но уже тогда, по-видимому, опять-таки в силу разнообразия моих прошлых ситуаций и интересов я не решал вопрос, кем именно я буду в смысле узкой профессионализации. Потому что в своем самосознании я мог быть кем угодно. Мне было абсолютно не важно, в какой области я буду работать, важно было лишь представление о целом. Я уже в том возрасте о мире мыслил как о целом, и абсолютно все стороны жизни входили в эту структуру, и все они меня в равной мере занимали.

К этому, наверное, нужно добавить еще несколько чисто фактических вещей. Больше всего меня

интересовала история. Уже в десятом классе я впервые начал читать классические работы по философии - "Историю философии" Виндельбанда, "Историю естественного права" Новгородцева, работы самих классиков философии, но главным все-таки было историческое представление. Но при этом, что опять-таки интересно, я очень любил математику, физику, биологию, т.е. я даже не могу сказать, какие предметы я любил и предпочитал. Можно сказать, что меня интересовали все предметы в равной мере, и не было никакого различия в том, заниматься ли историей, заниматься ли логикой, заниматься ли математикой, физикой, биологией - можно было заниматься чем угодно, это было для меня абсолютно безразлично. Важно было то, что этим занятиям нужно было отдавать все силы, до предела своих возможностей.

Существенно, видимо, и то, что учеба никогда не составляла для меня труда. А, наверное, с седьмого класса я даже понял, что если работать на уроках организованно и активно, то дома вообще ничего не надо делать. Поэтому у меня был такой порядок - домашние задания я выполнял прямо на уроках. По математике, скажем, я просто решал все задачки из учебника вперед. У меня даже было в связи с этим несколько неприятностей, поскольку я сдавал тетрадь, в которой были решены все задачи, в том числе и на пару будущих тем. Учительница поначалу не верила, что это моя тетрадь, считала, что я взял ее у какого-то из старшеклассников, но потом как-то успокоилась.

Одно время меня даже пытались наказывать за то, что я выполняю задания на уроке. Сидел я тогда чаще всего на предпоследней парте: там было удобно заниматься своими делами. Скажем, на уроках немецкого языка, поскольку я благодаря домашнему обучению знал его неплохо, я осваивал готический шрифт. Переписывал "Капитал" не только на русском, но параллельно и на немецком, готическим шрифтом, принося книгу с собой. А дома я занимался совершенно другими вещами. У меня была на самом деле своя программа учебы...

Таким образом, вот это важно: была система школьного обучения, и была моя собственная сверхпрограмма, были свои собственные задачи, начиная от всемирной истории искусств и дальше.

И очень большую роль, по-видимому, играла общественная работа. С тех пор как я себя помню, я все время выполнял какие-то функции - комсорга класса, члена комсомольского бюро школы и т.д. С этим я, кстати, пришел и в университет, что и стало подоплекой многих университетских коллизий.

Но тогда, кстати говоря, не было нынешнего формализма - работа для нас была невероятно живой, был очень активный коллектив, восемь-десять человек как минимум. И между ними возникали очень сложные и органичные отношения. И сейчас, в ретроспекции, я бы мог сказать, что в те годы в классе - не знаю как сейчас, всюду ли, где и как - существовал коллектив, через который осуществлялось воспитание, или внутри которого шло воспитание. Сейчас, например, насколько я понимаю, драмкружок в школе - это что-то необычное. В те же годы драмкружки существовали в каждой школе; и я участвовал в драмкружках со второго класса по четвертый - дальше мне это стало менее интересно. И даже комсомольские собрания очень часто проходили как обсуждение моральных и других проблем.

Но, кроме того, было ощущение определенного организационного статуса: то, что я все время выполнял общественную работу и был среди активных ребят, имело очень большое значение для моего развития. Но вот какое? - это вопрос более сложный, и сейчас я бы даже не рискнул на него отвечать.

На этом месте я закончил бы про школу и перешел к университету.

24 ноября 1980 г.

Совершенно естественно, и вряд ли это может вызвать удивление, что поступление в Московский университет на физический факультет было для меня очень важным переходным моментом, хотя бы потому, что всегда переход из школы в высшее учебное заведение кардинальным образом меняет всю жизнь. И для каждого человека это очень значимый перелом во всей организации жизни и в собственных ориентациях.

Но это только один аспект ситуации, поскольку для меня учеба в университете была вместе с тем продолжением всего того, что случилось со мной в предыдущие три, по меньшей мере, года. Именно потому я оказался в общем-то совершенно неподготовленным к жизни в университете. Неподготовленным по очень многим параметрам и вообще неадекватным всему тому, что в университете происходило.

Другой же аспект характеризовался тем, что поступление мое в университет совпало с целым рядом очень важных событий и переломов в жизни страны и мира - совершенно случайно. Был 1946 год. Кончилась война. США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Кардинальным образом изменилось представление о возможностях науки, вообще перевернулись все ценности, открылась совершенно новая область перспективных исследований и разработок. Это понимали все. Но, с другой стороны, война-то кончилась, и мы начали активно ломать, менять наши отношения с бывшими союзниками - с Соединенными Штатами, Англией, Францией. Творился "железный занавес". Власти нужна была кардинальная идеологическая перестройка. Именно идеологическая, и она началась, как вы знаете, уже в сентябре 1945 и продолжалась до 1948 года. Фактически она в 1948 году не закончилась, а только как бы приостановилась на короткое время и потом во всю развернулась в 1951-1952 годы.

Требовалась кардинальная идеологическая переориентация народа, причем тотальная. В условиях войны с фашистской Германией наши отношения и с Америкой, и с Англией, и с Францией, естественно, были более близкими, чем того требовал послевоенный мир. А с 1944 года - вы, наверняка, хорошо знаете это из мемуарной и исторической литературы - уже началась борьба за раздел мира. Непосредственная угроза Советскому Союзу, Англии исчезла, и наступил переломный момент - 1944 год, высадка в июне союзников в Нормандии... даже, наверное, с конца 1943. Начинается политика дальнего прицела, ориентированная на послевоенное устройство мира. То самое послевоенное устройство, в котором мы с вами сейчас живем и которое, как вы знаете, почти не подвергается ревизии, рассматривается как устоявшееся, почти легитимное, и все заняты только сохранением статус-кво.

Непосредственно это выражалось в серии партийных и государственных постановлений по идеологии, инициатором и, наверное, во многом автором которых был Андрей Жданов, тогдашний секретарь ЦК партии. И, естественно, все эти переориентации, реорганизации проходили и в



университетах. Поэтому мой собственный перелом в жизни, "перестройка" моя - переход из школы в высшее учебное заведение - совпали с общегосударственными перестройками, очень сложными (я об этом буду дальше много говорить), затрагивавшими буквально всех и все аспекты жизни.

Если вы помните, еще в начале десятого класса я рассматривал как один из возможных вариантов поступление в Авиационно-технологический институт. Я даже объяснял это идеологически - теми задачами, которые стояли перед страной. Но к концу учебного года, к весне 1946, я сам довольно серьезно переориентировался. К этому времени я уже достаточно четко понимал и осознавал, что меня больше всего интересует, конечно, философия. Философия в ее самых разных приложениях - и в плане историческом, и в плане естественнонаучном. Поэтому всю первую половину 1946 года мое внимание было приковано к этой проблеме, и я обсуждал вопрос: где же, собственно, мне надо учиться?

При этом я постоянно спорил с отцом, который был категорически против философского факультета. Отец прямо в лоб и очень резко задавал мне вопрос: ты что, хочешь стать талмудистом, начетчиком? И довольно образно и красочно рисовал мне картину моей будущей жизни, той, которая меня ждет, если я поступлю на философский факультет, где всё учат наизусть, где нет подлинной работы, нет и не нужно понимания, где, как он утверждал, я протяну... ну максимум год, а после этого отправлюсь в отдаленные края - на лесоповал или еще куда-нибудь. Картина была очень реальная, и я это понимал.

Вместе с тем, говорил он, даже если отбросить эту сторону дела, человек должен иметь профессию и специальность, и таковой может быть профессия и специальность либо инженера, либо, как это сейчас вырисовывается, инженера-физика. Я в общем-то с этим соглашался, но, как я сейчас уже понимаю, слова "получить специальность", "профессия" звучали для меня весьма абстрактно: я реально в эти слова никакого содержания не вкладывал.

У отца был еще и третий аргумент. Он говорил, что сегодня нельзя быть философом, не освоив физико-математического мышления - оно действительно самое передовое. Вот этот аргумент был очень важным. Вырисовывалась такая картина: после окончания физического факультета (и он даже по своим каналам это начал выяснять), я, если захочу, смогу поступить в философскую аспирантуру и заняться там своей любимой философией.

Ну и, наконец, немаловажную роль играл для меня аргумент, которого у отца не было, но который все время фигурировал в моем собственном осознании. Я уже сказал, что взрыв атомной бомбы над Японией перевернул мирозерцание людей того времени, всех людей от верхов до низов. И весь предшествующий год шел под знаком обсуждения в самых разных кругах значения этого события, тех последствий, которые оно оказывает на весь мир. Этот факт привлек к физике внимание всех молодых людей, считавших себя способными заниматься активной творческой работой. И поэтому всюду, куда бы я ни приходил, обсуждался этот вопрос. Позже эту ситуацию высмеивали физики в своих сборниках "Физики шутят". Кругом меня молодежь обсуждала перспективы, которые открывает физика, и все намеревались идти в "физики". Короче говоря, физика в это время привлекла внимание многих, и, естественно, начались отбор и концентрация на физическом факультете МГУ самых интеллектуально сильных людей.

Этот момент также сыграл довольно существенную роль. Я представлял себе, и это было очень

важно, что в Московском университете - первом университете страны - физический факультет становится первым факультетом. Движение к тому месту, где собирались, так сказать, самые мощные люди, тоже для меня было очень значимым, поскольку я тогда уже очень хорошо понимал, что, следовательно, там-то и будет готовиться и разворачиваться жизнь. Вообще, учиться вместе с самой интеллектуально сильной частью молодежи означало попасть в элиту, а быть в элите является очень важным и практически существенным фактором.

Ну и поэтому уже к маю-июню в кругу семьи порешили, что я иду на физический факультет. Отца это очень волновало, и поэтому, когда я пошел и сдал документы, то он, как я потом узнал, решил со своей стороны все это еще раз продублировать и написал ректору университета личное письмо. У него был свой бланк, где в левом углу были его титулы, звания и т.д. Он написал, что просит принять его сына на факультет. Он сам отнес письмо в университет. И эту штуку приклеили к моему личному делу.

Вы помните, что школу я окончил с медалью, физику достаточно хорошо представлял себе или думал, что представляю. Проходило собеседование. Вел его профессор Гвоздовер, который потом читал нам курс механики. Он мне задал три-четыре задачи. В одной я немножко поплавал, но мы как-то с ним разобрались, остальные я, к счастью, довольно хорошо решил. И он сказал, что я могу идти, что он достаточно высоко оценивает мою подготовку. Я ушел. Мне нужно было пройти только собеседование: тогда медалисты не сдавали экзамены.

Действительно, физический факультет 1945-1947-го и даже 48-го еще года собирал самых сильных со всей страны. Но при этом - и это очень важный фактор и для дальнейшего - было три категории абитуриентов. А надо сказать, что на этот первый курс физического факультета МГУ было принято 450 человек. Так вот, первая из этих трех основных категорий состояла из прошедших войну и возвращающихся в гражданскую жизнь людей в возрасте до 35 лет (большинство - 28-29 лет). Они составляли примерно половину всего курса. Другая половина в свою очередь делилась на примерно равные части: московские медалисты, выпускники средней школы в возрасте 17-18 лет, и абитуриенты с периферии. Очень небольшой процент "периферийников" (таких у нас на этом курсе было всего человек двадцать) составляли те, кто сдали экзамены, т.е. "немедалисты", и притом сдали все на пять; они еще, кроме того, проходили специальное собеседование после экзаменов и попадали только те, кто показал особые знания и способности.

- А как поступали в университет фронтовики? Без экзаменов?

Там были только отличники, т.е. либо те, кто имел соответствующее свидетельство об окончании десятилетки - довоенное или полученное во время войны (это тогда было приравнено), либо те, кто сдали все вступительные экзамены на пять. И в чинах они были от сержанта до полковника. Полковников, подполковников, майоров было много. И поэтому весь курс, с одной стороны, был очень неоднородным по возрасту, а с другой - очень жестко разделялись москвичи и студенты с периферии. Это тоже очень существенный фактор - еще и потому (и это все усугублялось дальше), что москвичи жили дома, а "периферийники" в общежитии. Различие между студентами, живущими в общежитии, и студентами-москвичами Вы хорошо себе представляете.

Наш курс, предыдущий курс и следующие два курса были очень сильными - это действительно верхушка советской молодежи. Но то обстоятельство, что значительная часть студентов уже прошла

войну, накладывало свою печать. И вот в каком плане.

В подавляющем большинстве своем эти люди уже знали две очень важные жизненные вещи. Первое - что жизнь страшна. Например, со мной в группе (сначала 12-й, потом 22-й, 32-й) учились ребята, служившие в СМЕРШе, в особых частях НКВД, которые, как я теперь знаю, обязаны были осуществлять расстрел и делали это регулярно и постоянно. Многие из них были с психическим вывихом. Ну а кроме того, они прошли войну, они знали, что такое смерть, они прошли через испытание на выживание, и многие из них пришли сюда, чтобы заниматься физикой и здесь найти пропуск в будущую жизнь, и сделали они это совершенно сознательно. Этот момент дальше разворачивается в их отношении ко всему тому, что происходило на факультете.

И вторую вещь эти ребята тоже поняли - важнейший пункт, который вообще определяет первые послевоенные годы. Они поняли, что есть "лошадь", а есть "всадник". Что можно либо быть погоняемым, либо погонять самому. И никакой промежуточной позиции нет. Поэтому они пришли на физический факультет, чтобы получить некоторую жизненную перспективу. И в этом смысле они достаточно четко знали и понимали, чего хотят. В отличие от меня. Думаю, что и в отличие от многих моих сверстников. От многих, но отнюдь не всех, конечно.

Теперь я хочу дальше рассмотреть в определенном порядке, в определенной последовательности разные аспекты жизни на факультете. Сначала учебную программу и мое отношение к ней, потом комсомольскую работу и вообще внеучебную работу коллективов. А потом людей, с которыми я учился, и ... тип взаимоотношений, что ли, с ними.

Ну естественно, что на первые занятия я пришел с известным внутренним трепетом - Московский университет, физический факультет, нечто принципиально новое, подо что надо подстраиваться. При этом, если вы помните, я был усидчив, умел и любил работать с утра до вечера и обладал достаточно прочной нервной организацией. Но, тем не менее, буквально в первые две недели я понял, что я... ну практически не могу учиться в университете - так, как того требует вся организация и технология обучения.

Лекции по общей физике и механике читал профессор Гвоздовер, человек очень серьезный, вдумчивый, чуть-чуть скучноватый. Читал он, как полагается, в хорошем темпе и достаточно свободно. Он принадлежал к тем уже уходящим профессорам университета, которые начинали свои лекции с объявления, что можно на лекции ходить, а можно и не ходить, и студент может выбрать любой вариант, хотя в деканате нас предупреждали, что ходить надо на все обязательно, пропускать ничего нельзя.

Математику читал знаменитый и в общем поразивший наше, мое во всяком случае, воображение профессор Арнольд-старший. Он начал свои лекции с того, что, оглядев весь этот гигантский курс, сказал: "Ну, человек тридцать из вас, может быть, сдадут мне экзамены - остальные не сдадут".

Надо сказать, так оно и было: по первому заходу (в зимнюю сессию) ему смогли сдать действительно человек тридцать, остальные ходили три, пять, восемь раз, а часть студентов вынуждена была отчислиться из университета, поскольку не смогли сдать этот экзамен.

Вообще надо сказать, что математическое образование на физическом факультете тогда было даже

лучше, чем на механико-математическом, поскольку самая сильная математическая профессура, - те, кто потом ушли на мехмат и стали там знаменитыми, составили славу мехмата на последующие десятилетия, - тогда преподавала на физфаке.

Арнольд обладал целым рядом удивительных способностей. В частности, он мог говорить одно и одновременно писать другое.

Он, например, читал лекцию, параллельно писал уравнения, какие-то системы, потом, уходя на перерыв, говорил:

- А это вы спишите за перемену, это вам задание на дом.

Поэтому, фактически, ни один человек на его занятиях уйти на перемену не мог, все сидели и писали. Причем, когда он возвращался после перерыва, мы успевали написать примерно половину, и когда мы начинали кричать, что не успели, он говорил:

- А вы пишете, пока будете слушать мою лекцию.

- Как? Ведь надо записывать лекцию.

- Пишите двумя руками. И вообще прекратите эти школьные штучки.

Аналитическую геометрию читал профессор Ефимов, который потом стал деканом механико-математического факультета. Читал он очень приятно, вдумчиво, не торопясь, вообще, так сказать, размышлял на лекциях, что само по себе было очень приятно, но, как выяснилось, читал в темпе, примерно в три раза превосходящем возможности моего восприятия.

Лектора по марксизму-ленинизму я не помню, поскольку, просидев первые сорок пять минут, я понял, что делать мне тут нечего, и с тех пор больше ни на одной лекции не появлялся. Я даже не могу сказать, кто это был, какая у него была фамилия и т.д. Но зато мне невероятно повезло с преподавателем марксизма-ленинизма в группе. Вел занятия некто Туз, но о нем я скажу дальше специально.

Ну и наконец, был физпрактикум.

Итак, первое, что я обнаружил: я не успеваю, слушая лекции, понимать, осознавать то, о чем рассказывается. Я все время "отлетал". Выяснилось, что писать я могу только то, что понял, что у меня вообще не работает формальная память.

Вот если я понял то, что сказано, я могу воспроизвести, я помню; если не понял, то вообще даже не могу повторить, что он, лектор, сказал. Тем более, что у меня все время возникали вопросы. Почему так, а не иначе? Откуда следует то или иное утверждение? Какова структура самого рассуждения? Как приходят к таким-то следствиям и выводам? Почему приходят именно к этим?

Таким образом, когда я понимал, возникало множество самых разных вопросов по структуре: почему это, а не другое? какие основания?.. А с другой стороны, вроде бы, появлялись какие-то альтернативные решения. Но пока я вдумывался в сказанное, я отключался от лекции, и когда я решал для себя вопрос, как же мне отнестись к тому, что было сказано лектором, оказывалось, он

ушел куда-то в другое место, и я тратил очень много сил на то, чтобы снова войти в русло.

Короче говоря, эти лекции стали для меня мукой, и большей муки в моей жизни, по-моему, не было. Начали возникать страшные комплексы. Я начал смотреть, что делают мои товарищи, и увидел, что все они сидят и пишут, пишут в страшном темпе, стараясь не пропустить ни одного слова, пишут так, что уже потом часто не могут прочесть, что они написали, так торопятся, что букв не выписывают. Я так писать просто не умел. Человек двадцать из них уже писали стенографически, другие начали это осваивать. И вообще, в аудитории стоял только скрип - скрип скамеек, по которым двигались задницы, и скрип ручек о бумагу. Когда я потом пытался с ними разговаривать, с моими товарищами, спрашивал, например: вот было такое утверждение... так?... а почему? - выяснялось, что, во-первых, они себе таких вопросов не ставят, во-вторых, они вообще не могут ответить на вопрос "почему?", и в-третьих, они смотрят на меня немножко как на идиота, поскольку их задача состоит в том, чтобы успеть схватить, каким-то образом запомнить и затем ответить на экзамене. И они работали в этом плане четко специализировано.

Наиболее умные из них, такие, как, скажем, нынешний академик-синхрофазотронщик Борис Кадомцев, даже объясняли мне, в чем дело. Они говорили: ты же пришел сюда получить специальность, профессию, а это значит - уметь делать то-то, то-то и то-то, уметь формулировать в математической форме какие-то задачи, затем уметь их исчислить, скажем, проинтегрировать, проинтегрировать, и в этом состоит высшее образование. А все эти твои вопросы - почему? каковы понятия? как они вообще образуются? - не имеют никакого отношения к профессии и профессионализации.

Конечно, это меня не удовлетворяло. Если на меня товарищи смотрели как на идиота, потому что все, что я спрашивал, не укладывалось в их сознании, то точно так же и я довольно скоро начал смотреть на них в какой-то мере как на идиотов. Ведь если какой-то раздел уже отработан и "сдан", и я начинал спрашивать, почему они делают так, а не иначе (а спрашивал я все это в модальности познания и саморазвития), то выяснялось, что они просто этого не знают. Вот он получил "пятерку" и высоко оценен преподавателем, а любые отклонения от шаблона приводят его в тупик. Больше того, приходится тратить очень много сил, чтобы объяснить, что, собственно говоря, я спрашиваю. Но и после того, как он начинал что-то понимать, задумываться и, наконец, говорил: "Ага, вот теперь я понял", разговора не получалось, он от него уходил, это его не интересовало. Обычно говорили: "А это вообще все - зады". Фраза "это - зады" была очень характерной.

Не было никакой "зауми" для них в том, чтобы научиться дифференцировать или интегрировать, решать систему уравнений или писать граничные условия. На этом и строилось все обучение. Поэтому я махнул рукой на лекции, в том числе на лекции Арнольда, Ефимова, Гвоздовера, и на первом курсе после первого месяца на них больше не появлялся. Так до конца своей учебы на физфаке я на лекции просто не ходил. Иногда меня начинали прижимать, выяснять - почему и как, но с какого-то момента староста и деканат смирились с тем, что меня на лекциях не бывает, и это стало неким фактом нашего курса - каким-то странным немножко, вызывающим настороженное отношение, иногда ироническое, иногда удивленное. Но поскольку экзамены я тем не менее сдавал и переходил с курса на курс, на это начали смотреть сквозь пальцы.

Я стал читать книги и работать сам. Однако дальше я "горел" на этом, хотя, с другой стороны, что-то

и выигрывал. Вместо лекций Арнольда, я взял и проработал его учебник "Теоретической арифметики" и получил гигантское удовольствие. Я, например, понял, в чем разница между алгеброй и теоретической арифметикой. И этим отличился у Арнольда же. Мы приходили сдавать ему экзамены часов на пять-семь (приходили с утра, а уходили после пяти) и сидели в аудитории. Когда он кого-то спросил и человек не смог ему ответить, и он громко обратился ко всем сидящим с вопросом: "А кто-нибудь вообще знает, какая разница между теоретической арифметикой и алгеброй?", то выяснилось, что я один знаю это (поскольку на лекциях он этой темы не обсуждал). Это меня, надо сказать, в той ситуации спасло, и я получил с первого захода "тройку" по матанализу. А так всего человек тридцать сдало при первом заходе. Поэтому я мог считать себя весьма продвинутым и был невероятно горд, хотя и остался без стипендии (все остальное у меня было сдано в первом семестре на отлично). Но об этом я расскажу особо, поскольку это очень смешно.

Итак, я прочел Арнольда, "Теоретическую арифметику", получил удовольствие, взял два тома Немыцкого, "Матанализ", и вот тут я, как говорится... Это была для меня невероятно трудная книжка, но я решил, что, пока ее не проработаю, не успокоюсь. Вы представляете себе эту книжку? Никогда не видели? Это самый сложный учебник по матанализу, более сложного нет. Два толстенных тома, в которых обсуждается теория и все доказательства существования, и все это дается на самой тонкой, филигранной технике, которая мне тогда была напрочь недоступна. Но я весь семестр мужественно сражался с этим учебником Немыцкого, причем, работал я так же, как работал с "Капиталом" Маркса, т.е. я переписывал его от корки до корки. И писал на полях комментарии.

Тогда возникала куча вопросов: что такое существование? зачем нужны эти доказательства? и т.д. Но надо сказать, что к концу первого года я знал невероятное множество никому абсолютно не нужных тонкостей по матанализу. Причем, не нужных нигде - не продвигающих ни ум, ни возможности работы, ни саму математику, потому что трудно представить себе курс более бессмысленный и более ненужный с точки зрения изучения матанализа и математики вообще.

Аналитическую геометрию я изучал по учебнику Баженца - очень приятный и легкий учебник - и так свободно и весело по нему двигался, что проработал за первый семестр весь годовой курс и таким образом очень продвинулся вперед.

Читал по курсу физики "Механику" Хайкина, где впервые узнал, что такое абстракция, что такое идеализация, - тогда еще были такие учебники... Хайкин был учеником нашего крупнейшего физика Мандельштама, человека создавшего очень большую школу, учителем Маркова, автора идеи "кентавра", - теперь-то я знаю, что это заход к "естественному-искусственному". В 1947 году Марков опубликовал в "Вопросах философии" статью о "кентаврах" в физике, за что был обвинен в идеализме писателем Львовым и выпихнут... Он был член-корреспондент Академии, но это не помешало его ослабить и вообще "сшибить" с философской и всякой другой арены, а он был один из самых мыслящих физиков-философов. Марков смог вернуться к обсуждению этих вопросов только через 20-25 лет.

В результате из последующих изданий книги Хайкина вообще выбросили все про идеализацию, про абстракцию, про способы образования физических понятий. Но мне повезло: я читал учебник Хайкина еще без сокращений. И я благодаря этому получил фактически основы методологии и философского подхода, поскольку Хайкин постоянно возвращался к проблемным аспектам, постоянно критиковал

сами физические понятия. У него были очень интересные отсылки, скажем, к Герцу, с его попыткой построить физику на других понятиях, к Маху, с его историей механики. И я из этой книги получил попутно очень много представлений и сведений, которые вполне отвечали моему направлению и подходу. Надо сказать, что Хайкин укрепил меня в таком видении мира, которое было мне свойственно.

Иначе дело обстояло с практическими занятиями. Физический практикум поразил меня своим несоответствием общему учебному курсу, поразил до глубины души, поскольку это было фактически концентрированное выражение бессмысленности всей университетской системы образования. Имелся набор задач по общей физике, которые нужно было выполнить за два года, и все студенты должны были пройти через них раньше или позже. Но одни проходили раньше, а другие позже, поскольку одновременно сидеть в лаборатории 450 человек не могли. Материальная база физфака явно не соответствовала количеству студентов. Думаю, что администрация физфака точно так же, как и мы, пала жертвой этого взрывного расширения. Возможно, что, когда структура этого курса была задумана, студенты проходили физпрактикум соответственно тому, как строился теоретический курс, но сейчас все поломалось.

Итак, в сентябре или октябре первого года обучения я мог на практикуме получать задачи, предполагающие знание тех разделов, скажем, теории электричества, электротехники, оптики, которые программой были намечены на четвертый семестр, т.е. конец второго курса. Поэтому перед каждым студентом возникала дилемма: либо все списать, не понимая теории, не понимая, чего от него хотят, либо садиться и начинать изучать соответствующие разделы из учебного плана следующего года. Ну и все, естественно, предпочитали списывать, никто не относился к этому всерьез.

А я был что называется принципиальный дурак - мне это казалось оскорбительным и унижительным. Поэтому я каждый раз брал учебник и начинал прорабатывать соответствующий раздел, чего опять-таки нельзя было сделать, не залезая в предшествующие разделы. Это тоже был момент, который вынуждал меня либо работать все больше и больше, либо же разрываться - в моральных уже проблемах: что с этим делать? Но так получилось, что я, по-моему, до третьего курса никак не мог примириться с необходимостью списывать. И это создавало невероятно сложный разрыв. К каким коллизиям это привело, я скажу потом.

Итак, был физпрактикум, кроме того, были практические занятия по матанализу, которые вел очень приятный преподаватель из МВТУ, Фролов, четкий, интеллигентный, который - у меня такое ощущение - больше интересовался нами и нашей жизнью, чем самим предметом. Однажды он меня спросил:

- А вам не скучно все это делать?

- Очень скучно.

- Ну и как же?

- Но вы же заставляете!

Он очень удивился и говорит:

- А разве я заставляю? Мне тоже невероятно скучно все это.

В другой раз, когда мы решали уравнения и Фролов что-то там небрежно писал на доске, Борис Кадомцев ему тихонько... А Борис Кадомцев с первого же курса был отличником. Вот он успевал все. Как он успевал - я этого понять не могу. У него была прекрасная память, он все четко фиксировал, каждый раз знал, что надо делать: здесь дифференцируем, здесь интегрируем и т.д. ... Так вот, Борис Кадомцев тихонько с места:

- Здесь синус, а не косинус.

На что Фролов, поглядев на него, замечает:

- Синус, косинус - какая разница?

Вот этот момент произвел на меня большое впечатление и очень мне понравился.

И, наконец, был совершенно восхитительный, с моей точки зрения, преподаватель кафедры марксизма-ленинизма Туз - с абсолютно круглым, часто небритым лицом, желтушный, потому что у него была болезнь печени. Он ходил в военной шинели - зеленая такая шинель без пуговиц, на крючках, с оторванными лычками от погон. Военные грубые кирзовые сапоги... Если вы хотите представить себе его образ, то вспомните "сталкера" в фильме Тарковского: считайте, что копия. Но только все еще более резко выражено - такие вот высокие скулы, что-то монголоидное...

Он сказал, придя к нам на занятие: "Ну вы, физики, ребята умные. Все остальное выучите сами, я надеюсь, безошибочно и четко, а мы с вами будем заниматься философией". И дальше, практически на протяжении всего первого семестра и куска следующего, мы занимались одной "четвертой главой".

Туз невероятно любил Гейне и Гете. Он мог, например, стоя совершенно неподвижно у преподавательского стола, вдруг начать читать стихи Гейне на немецком, причем невероятно красиво: у него был чистый, хороший немецкий язык. Потом он говорил, что по-русски это звучит хуже, но все равно красиво, и читал нам эти стихи на русском. Или он мог сказать: вот в "Фаусте" это место у Гете звучит так..., - и опять же по-немецки и по-русски. Он цитировал "Критику чистого разума" Канта, куски "Большой логики" Гегеля. Я получал полное удовольствие.

При этом у него постоянно болела печень. Он не пробыл у нас и года. Его забрали где-то за месяц до наших экзаменов. И когда я уже после узнавал о его судьбе, мне никто так и не смог ничего сказать: видимо, он погиб.

И в самом конце первого курса к нам пришел другой преподаватель марксизма-ленинизма, тоже прошедший войну - Марон. Но если у Туза была солдатская шинель и, как я сейчас понимаю, он, наверное, постоянно находился в штрафбатах, то этот был в шинели офицерского сукна, в галифе, тонких сапогах и при этом еще всегда в калошах. Он весь был иссиня-черный, с горбатым носом. Это тоже персона. Совершенно бабелевский еврей, но в отличие от бабелевских евреев, или в отличие от основных бабелевских героев, он всего боялся. Но был очень умным и все понимал.

Вот с этим Мароном у меня началась очень сложная история, которая во многом определила мою



судьбу.

Ну и чтобы завершить этот очерк, я просто расскажу, как это все проявлялось на экзаменах. Физику я прошел очень здорово и вперед - по Хайкину, тем более, что это доставляло мне большое удовольствие. Гвоздовер, как мне рассказали товарищи, объявил, что ему можно сдавать в любое время. Поэтому я пришел на последнюю лекцию и послал ему записку: можно ли после лекции сдать экзамен по физике?

Практикум я к этому времени сделал, слава Богу, правда, с большим трудом. Кстати, практикум у нас вел очень интересный преподаватель, ставший потом довольно известным. Я тогда и не предполагал, что он прежде всего логик, а он оказался очень известным у нас в стране логиком - Виктор Иванович Шестаков. Но я тогда знал его как физика, физика-электротехника, и только потом, много позже, по окончании философского факультета, узнал, что у него было еще одно лицо, второе - вторая профессия, вторые занятия. Я только отмечал, что он физику не любит и преподает ее как-то очень небрежно.

Послал я, значит, записку Гвоздоверу: можно ли сдать? Он очень удивился и сказал аудитории: "Вот, есть же такие! Сейчас кончится лекция, и, пожалуйста, сдавайте!".

Нас было двое. Такая очень активная девочка, Мила Прозорова... Кстати, на физфаке, на нашем курсе, было очень мало девочек. Но в одной группе, правда, был только один мальчик, староста "женской" группы - Спартак Беляев, в будущем ректор новосибирского университета. Он тоже пришел с войны (воевал летчиком), был весь из себя тонкий такой, вообще немец, ариец - белобрысый, в кителе, всегда подтянутый, всегда с полевой сумкой на одном боку и журналом на другом. И еще было две или три девочки в мужских группах: Эрна Эйгенсон, Мила Прозорова - в 14-й группе... Эта группа считалась самой сильной.

И вот мы сдаем вдвоем с Милой Прозоровой (она, кстати, стала потом женой Константинова, наверное, Вам известного, первой женой его). Мы получили свои три вопроса, побеседовали. Гвоздовер сказал: "Очень недурно, весьма недурно..." - и поставил нам пятерки. Таким образом, я сразу проскочил в "кавалеры", т.е. первым из всего курса сдал экзамен. Потом ходили-спрашивали: как? что? и т.д. И тем самым, собственно, я оправдал свое непосещение.

Потом я сдавал аналитическую геометрию Ефимову. Он, наблюдая, как я ему отвечаю, говорит:

- А на лекциях-то вы у меня не бывали

- Не бывал.

-А почему?

- Скучно было, - говорю я немножко нагло.

- А-а-а!.

И наш с ним экзамен затянулся часа на четыре: он решил меня проучить. Манера у него была такая: он со мной поговорил, побеседовал, а потом: "Вот вам задачка, решайте" (главным тогда были перевод кривых в определители и решение на определителях), а сам вызывает следующего,

побеседовал с ним, поставил ему оценку и отправил. Потом поворачивается ко мне: "Ну у вас что?" Я ему рассказываю, что могу. Он говорит: "Ну что же, неплохо! Вот вам вторая задачка". И, дав мне ее, вызывает следующего, беседует с ним, отправляет, а потом снова обращается ко мне. Я все решал - одно, другое, третье, но во мне росла дикая злоба и уже отвращение к этому экзамену. И чем дальше, тем больше.

Студенты мимо меня шли, получали свои оценки в зачетки, кто что, а я все сидел, сидел и сидел, и гнев во мне рос со страшной силой. Гнев и вообще отвращение. И вот в какой-то момент он говорит: "Ну ладно, последний вам вопрос". И тут я понял, что я кончился, что я, о чем бы он меня ни спросил, думать уже не буду, заведомо. А он еще смакует и говорит: "Ну что же, если вы ответите правильно, тогда, значит, вы хорошо подготовлены". И он задал мне достаточно сложный вопрос: надо было определить, что будет происходить с кривой, когда области существования меняются и какие-то другие граничные условия накладываются, и все это посчитать по определителю. Он спросил, отрицательный или положительный будет определитель.

Мне было не до этих определителей - я уже умер, все. И я решил: черт с ним. Говорю:

- Положительный будет.

Он как подскочит на месте:

- Правильно. А вот как вы это определили?

Но тут я понял, что все, и я сказал:

- Простите, ведь вы же сказали, что это последний вопрос, а задаете следующий. Я у вас тут сижу больше четырех часов.

Он так поглядел на меня и сказал:

- Вы правы, - и поставил мне "отлично" в зачетку. - Идите.

И после этого в отзыве написал (а этот экзамен, который сдавала наша группа, у него был последний), что из всех студентов курса аналитическую геометрию лучше всех знал я, - о чем и было объявлено на соответствующей доске. Оказывается, я в уме решил очень сложную задачу, просто невероятно сложную. Как потом Ефимов объяснял замдекана, он дал мне ее на засыпку, поскольку показался я ему довольно нагловатым. И наверняка бы я засыпался.

Ну и был последний, третий, экзамен, по матанализу. Его еще не сдали одна или две группы, но это были последние дни сессии: если сессия заканчивается 23-го, то мы сдавали, скажем, 21-го. И до нас уже прошло много групп, причем результаты были совершенно страшными. Скопилось очень много народу, конец сессии, - все стремились пересдать и получить стипендию.

Я пришел в университет утром. Я очень четко знал и понимал, что матанализом не владею. У меня в голове сидело невероятное количество разных, совершенно разрозненных кусков из Арнольда, Немыцкого, которые никак не собирались, хотя я работал весь семестр над этим Немыцким. Что-то я знал, чего-то не знал, но главное я ничего не понимал.

Когда я получил свои вопросы, то четко понял, что мне не на что надеяться, поскольку отвечать всерьез я не смогу. И тут вдруг, примерно на первом или втором часу экзамена, случилась такая вот вещь. Арнольд спросил, кто знает разницу между теоретической арифметикой и алгеброй. Я сказал, что знаю. Он меня поднял и предложил объяснить.

Я довольно бойко эту теоретическую часть отбарабанил, тем более, что она в свое время меня заинтересовала. Я читал Когана, который тоже это обсуждал... Вообще, это была очень интересная проблема 20-30-х годов: ее тогда обсуждали, осмыслили, освоили. Арнольд еще жил этим. В этом заключалась идея его книжки "Теоретическая арифметика", которая вышла где-то 1939-1940-м году, все строилось на различении алгебры и теоретической арифметики.

Итак, я рассказал все, что понял про это. А рядом сидел то ли его аспирант, то ли ассистент - Обухов, который с интересом слушал. Ну и когда уже наступила моя очередь отвечать на билет...

А организовано это было так: Арнольд по очереди сажал всех студентов, затем распределял зачетки между преподавателями - их было три или четыре - кого-то спрашивал он сам, кого-то передавал другим. Надо сказать, что вся его команда была под стать ему. Они просто так оценок не ставили.

Вообще, экзамены представляли собою хорошо спланированное мучение. Время не организовывалось никак. Преподаватели и студенты приходили рано утром и уходили поздно вечером. Так, на втором курсе я сдавал 31 декабря Дубровскому, преподавателю нашей группы, зачет по дифференциальным уравнениям, который закончился примерно за полчаса до встречи Нового года. А сидел я с утра. Я ему говорил:

- Вы не забыли, что уже скоро Новый год!

- Ну и что? Ну, мы кончим немножко после. Что от этого произойдет?

- Но ведь вы же пойдете встречать?!

- Ну конечно, хотелось бы, но ведь я должен закончить с вами и, пока не буду уверен, что я могу поставить "зачет", я не уйду.

Ну, правда, Дубровский тут еще немножко надо мной измывался, но измывался, жертвуя собой. Причем одет был к празднику. Как я потом выяснил, он встречал Новый год тут же, ему только нужно было спуститься вниз, на первый этаж, и он попадал на празднование. Кончили мы, как я уже сказал, примерно в половине двенадцатого, и я приехал домой минут через десять уже после наступления Нового года. Такой вот был стиль.

Итак, я попал к Обухову, и он начал меня спрашивать. Я плавал страшно и уже понимал, что мне грозит "пара", было очень неприятно. Я даже в какой-то момент сказал:

- Давайте зачетку, и я пошел.

- Странно. Вы такие тонкие вещи знаете и так прекрасно рассказывали, а в простых вещах не разбираетесь.

- Ну как же в простых вещах! Если бы они были простые, я бы разобрался.

- Нет, это же ужасно просто, так просто! А вот то, что вы говорили, действительно было очень тонким, и вы хорошо говорили, - и он мне поставил "посредственно".

Таким образом, я закончил первую сессию с двумя отличными оценками, отметкой о лучшей сдаче и посредственной оценкой по матанализу. Надо сказать, что тут у меня возникла совершенно мелкотравчатая мысль, и в дальнейшем одной из моих целей при сдаче сессий, правда, побочной, стало все-таки набрать все пятерки. Впервые это мне удалось только в пятом семестре. Наверное, только тогда я более-менее научился учиться в университете... Но тут я сделаю несколько проходов вперед.

В следующем семестре у меня многое переменилось. Мне удалось достаточно хорошо сдать Тихонову матанализ, я сдал физику на "отлично", но зато совершенно погорел у Ефимова. Я учил тогда геометрию по Мухелишвили, есть такой толстый учебник, и это уже совсем расходилось с тем, что читал Ефимов на своих лекциях. Он, когда мы с ним встретились, сказал: "Вы опять не ходили. Я вас опять буду гонять". Ну и после того, как мы с ним посидели, он сказал: "Да, вы, конечно, человек способный, но надо же еще и заниматься кроме того". И выставил мне "тройку" по аналитической геометрии.

Мы с ним потом, кстати, много раз встречались, уже когда он был деканом механико-математического факультета. Он обсуждал со мной разные проблемы философии математики, теории обоснования и т.д. И каждый раз, вспоминая эту историю, он говорил: "Во второй раз вы мне так отвратительно отвечали, вы меня, ради Бога, извините за эту "тройку", но я не мог иначе".

В общем и целом оказалось - я и пытался в приведенных иллюстрациях это представить, - что я со своей установкой на познание, установкой на развитие себя, не имея никакого представления и понимания того, что означает осваивать специальность или готовиться к профессиональной деятельности, был по этой линии совершенно неадекватен и технологии обучения, и воспитанию в университете, и всей этой вообще лекционной системе.

Единственный предмет, который, с моей точки зрения, прорабатывался так, как положено, это основы марксизма-ленинизма. Но студенческая аудитория физиков считала, естественно, это все абсолютной ерундой, и поэтому тот единственный предмет, который был поставлен дидактически, методически очень точно, для них проходил совершенно впустую.

Я не могу сказать, что я марксизмом-ленинизмом занимался больше, чем другими предметами, равно как не могу сказать, что я им занимался больше, чем другие студенты. Просто, он действительно был хорошо организован, тогда как все остальные: математика, физика, физпрактикум - что лекции, что семинарские занятия, - давались с дидактической точки зрения невероятно плохо. По сути дела, все студенты - от плохих до самых хороших - были поставлены в ситуацию, когда они натаскивали себя на решение узких классов задач.

Кстати, поэтому лучшие, казалось бы, студенты, которые в то время были, - такие, как Судаков, известный тем, что он вез Ландау на "Волге" и был тяжело ранен, когда машину сбил грузовик (Вы знаете, наверное, эту историю), или, скажем, Миша Герценштейн, который сейчас доктор физматнаук и вот недавно опубликовал в журнале "Знание - сила" свои смешные в плане наивности рассуждения о времени, пространстве, стреле времени, - они в общем-то так и не стали большими учеными, хотя в

то время славились тем, что решали практически всякую учебную задачку. Эта система образования заставляла студентов физфака МГУ развивать в себе в первую очередь механическую память. Надо было писать, писать, запоминать, запоминать, потом выдавать все эти как-то освоенные способы решения на экзаменах. Потом оказалось, что для подлинной их жизни как ученых или инженеров-физиков это не имело ровно никакого значения. Позднее я со многими из наших бывших студентов специально разговаривал об этом.

Теперь по поводу комсомольской и общественной жизни. Участие в общественной жизни было для меня другим очень важным аспектом жизни на факультете, и уж если употреблять слово "жизнь" - это был первый аспект.

Надо сказать, что в те годы комсомольская организация и факультетское бюро комсомола были центром социальной жизни, и не только социальной, а вообще всех форм жизни на факультете. Во главе комсомольской организации стоял студент второго курса, бывший майор Иван Желудев - молодежный вожак, типичный для того времени. Как вожак - невероятно талантливый, способный организовать людей, умеющий публично выступать. Потом он удивительным образом превратился в ученого-бонзу: стал замдиректора института, может быть, уже и директор, может быть, уже прошел в членкорры. Только он и наука - вещи несовместимые. <...>

А тогда это был совершенно другого типа человек, так сказать, немножко под Кирова, в гимнастерке с портупеей, в сапогах, с кучей орденов на груди; службу он закончил майором, но был еще достаточно молодой, лет 27-28. Он собрал вокруг себя весь актив. И вот что очень интересно: нынешние видные ученые, прославившие себя в физике, теоретической физике, в математике, во всяком случае, многие из них, принимали активнейшее участие в общественной работе и были членами факультетского бюро, курсовых бюро, актива и т.д. Не было вот такого расхождения, как часто бывает сейчас: одни хорошо учатся и "ученые", а другие с трудом справляются с учебой и потому, как правило, комсомольской работой занимаются. Наоборот, все было совершенно иначе.

Желудев сумел собрать действительно первых - первых в учебе и первых по социальной активности. Поэтому именно вокруг факультетского бюро комсомола и жил весь так называемый актив, если говорить языком тех лет, причем этот актив был очень широким. Желудев ввел такие вещи, как собрания актива, и, надо сказать, тогда это еще не вылилось в формализм, в то, во что подобные мероприятия превратились потом. Фактически, вся живая и творческая работа шла не на занятиях, и это - принципиальное обстоятельство.

Вот, скажем, на втором курсе я организовывал специальные кружки... Я уговорил Эльсгольца вести у нас курс теории дифференциальных уравнений и курс общей теории функций. Вроде бы образовался математический кружок, но было всего два доклада, один сделал я, другой Цванкин, которого я упросил, из 24-й группы. Я попытался организовать семинар, или проблемный кружок, по физике. И опять было два доклада, мой и Бориса Кадомцева, и на этом все закончилось. Потому что никого это все не интересовало, не трогало. Пришло человек восемь-девять на первый кружок и человек двенадцать на второй.

О кружке по философии, который я организовал на первом курсе, я буду говорить особо и специально, но темы в этом кружке совершенно не касались учебных курсов физфака, а вот тут, хотя все доклады были непосредственно по тематике занятий, абсолютно ничего из этого не получалось.

Потому что никакой реальной жизни - научной, проблемной - не было, хотя, скажем, в это же время уже начинались космические исследования, начинал свою работу Королев...Это все где-то было, но не на факультете.

Именно поэтому, кстати, рождаются, с одной стороны, физико-технический институт (МФТИ), а с другой - инженерно-физический (МИФИ). Фактически, руководство факультета и преподаватели были уже заняты - как я теперь понимаю и стал догадываться в конце своего пребывания на физфаке, на третьем курсе - борьбой с евреями, выпихиванием их с профессорских и всяких других мест. Началась известная вам русофильская реакция, и на это уходили абсолютно все силы, а по учебной линии, по линии работы со студентами была рутинная совершенная, заставляющая всех жить какой-то искусственной, несурзадной жизнью. Но все, в общем, оказались достаточно адаптивными и приспособились к ней...

А вот в общественной работе, казалось, было совершенно иное - настоящая, подлинная жизнь, подлинный вожак, душа компании, причем в факультетском масштабе. Поэтому для всех отличников, для всей будущей профессуры и академиков-физиков, окончивших МГУ, комната бюро комсомола была излюбленным местом жизни, где все собиравались.

Первое комсомольское собрание проходило на второй день учебы. Нас - весь курс - собрали, и предложили выбрать комсомольское бюро. Надо сказать, что на курсе было много людей, которых я уже раньше знал. Например, из 150-й школы были Иваненко, Парфонович, Володя Неудачин и целый ряд других ребят, с кем мы вместе учились в этой школе. Из моей последней школы было трое ребят, тоже медалисты - Витя Соколов, Слепак, вот третьего я сейчас не помню, он, по-моему, ушел после первой зимней сессии. Я знал достаточно много ребят с этого курса - потом оказалось, что кто-то еще был из 110-й школы, с подготовительного отделения - в общем это был свой, достаточно узкий мирок.

Секретарем комсомола нам предложили студента нашего курса Михаила Кисина, из Мытищ, спокойного очень парня, увальня, которому, как я понял, вся эта комсомольская работа - а он был членом бюро мытищинского горкома комсомола, поэтому его и выдвинули в секретари - уже изрядно надоела. И вообще, он-то, в отличие от других студентов, в ней смысла нисколько не видел.

И еще было предложено выбрать целый ряд ребят, в том числе и меня, в это самое курсовое бюро. То ли семь, то ли девять человек, скорее, девять... Такая хорошая, большая компания: Вадик Гинзбург, Игорь Иваненко (тот, которого я и раньше знал), Мишка Кисин, я, две девочки, еще там кто-то...

И вот здесь начал проявляться второй план моей неадекватности. Я уже говорил, что жил-то я на самом деле в действительности мышления, а на то, что происходило реально, мне было, грубо говоря, наплевать, т.е. я не придавал этому особого значения. Больше того, как я теперь понимаю, я не очень-то интересовался, чем живут все мои товарищи, т.е. отношение мое к ним было слишком поверхностным, они интересовали меня не как таковые, а лишь в той мере, в какой мне приходилось с ними сталкиваться. Это с одной стороны, а с другой - я для них был "белой вороной". И только теперь я понимаю почему.

Я был "белой вороной", поскольку был достаточно обеспечен на общем фоне: подавляющее большинство из них вынуждено было обеспечивать себе условия для жизни и еще как-то постоянно заботиться об этих материальных условиях. Я этого тогда не понимал, не очень принимал в расчет.

Кроме того, как я уже сказал, они - эти "старшие" -уже имели житейский опыт и поэтому на все смотрели сквозь эту призму, а именно: чего человек хочет? какие у него цели? чего он добивается? как он действует? какими средствами? А для меня такой действительности просто не существовало напрочь, и я был прямолинеен.

В то же время все те идеологические кампании, которые в то время развертывались, я воспринимал совершенно один к одному.

- "Один к одному" - к чему?

К тексту. Буквально, впрямую.

- Все врачи - вредители?

Нет, конечно. Сейчас я буду пояснять. Я уже говорил: я все знал, все понимал. И какие там механизмы работают, и кто, и что... Но вот если было постановление, где осуждалось творчество Зощенко и Ахматова, и при этом произносились слова, что мы должны быть идейными, должны быть жизненно активными, должны строить свою жизнь, должны четко выполнять свои обязанности, работать на строительство социализма, то я опускал эту часть про Зощенко и Ахматову, поскольку знал, что они ни в чем не виноваты, не могут быть виноваты в принципе, и прекрасно понимал, почему их поносят, а брал ту часть, где говорилось, что жить надо активно, что надо выполнять свои обязанности, нести ответственность за свои действия и вообще чувствовать себя хозяином жизни. И начинал все это претворять в саму жизнь, т.е. так себя вести, так действовать, как будто это я - суверенный хозяин, будто от меня зависит воплощение всего того, что написано на знаменах, будто тем, как я и мои товарищи будем все это выполнять, вот этим и будет все определяться в будущем.

- А как насчет "винтика"?

Вот я и был таким активным, самодвижущимся "винтиком". Я таким вот образом "крутился".

Когда собрались выбранные в бюро, меня назначили заместителем секретаря по агитационно-пропагандистской работе. На мне "висели" газета, коллективы агитаторов, внутренние пропагандистские кружки, внедрение идей партии в студенческую массу, всякая такого рода работа. Я воспринимал все один к одному, надо было только эту работу организовать. И тут начались очень смешные эпизоды.

Газета - ее надо было делать. Я подыскал ребят на курсе, не откладывая в долгий ящик, выбрал редактора стенгазеты, распределил всех по разделам. Подобрал руководителей агитколлективов, разбил на бригады, поскольку я знал, что выборы приближаются и надо это делать. Сани же надо готовить летом, а телегу - зимой. Вот я и готовил все это сам, не дожидаясь каких-либо распоряжений сверху.

Когда газету сделали - впечатления об университете, факультете, - я посмотрел и подумал: странно, подписи нет. Обычно бывает "орган". А орган чего? Ну, конечно, партийной и комсомольской организации. И я попросил приписать: "орган партийной и комсомольской организации". Она так и вышла.

Примерно через неделю ко мне подошел студент нашего курса Горяла, бывший фронтовик, и говорит:

- Слушай, это ты газетой заправляешь? Чего это вы там написали "орган партийной организации"? Разве партбюро курса утверждало состав этой редколлегии? И вообще, откуда это все взялось? Я вот секретарь партийной организации, вчера меня выбрали, и ничего не знаю обо всем этом.

- Стенгазета должна быть органом партийной организации, поэтому я и сказал, чтобы написали это. А тебе что - что-нибудь не нравится? По-твоему что-то неправильно?

- Понимаешь, я еще не смотрел эту газету, но вот странно ты как-то действуешь - у нас еще и партбюро нет, а стенгазета уже вышла.

На это я ему весело так ответил:

- А вы бы еще дольше раскачивались. Вот уже месяц прошел, а у вас еще выборов не было.

И я пошел по своим делам, заниматься своим агитколлективом, сказав, что мне некогда, что у меня дел много:

- Если нужно, ты меня вызови.

Мне тогда было совсем невдомек, что не может быть никакого агитколлектива, никаких руководителей агитколлективов, не утвержденных партбюро. И не только партбюро курса, но и партбюро факультета, и даже не только партбюро факультета, но и партбюро университета. И поэтому через неделю Горяла вызвал меня и говорит:

- Слушай, я же тебя предупреждал. А тут вдруг узнаю, что уже и весь агитколлектив есть.

- Да, есть, и уже беседы проведены.

- Я тебя второй раз предупреждаю, что так нельзя.

Я этого ничего не понимал, мне казалось все это как-то не относящимся к делу. И чтобы вы поняли эту ситуацию, я просто пройду чуть дальше. В моей группе был очень симпатичный мне парень, Юра Стрельников, с которым мы потом, после одной очень показательной истории стали большущими друзьями. А развертывалась эта история в январе, во время сессии, когда Юра сидел в читальном зале университетской библиотеки и готовился к экзамену то ли по аналитической геометрии, то ли еще по чему. Он был членом агитбригады и, как я выяснил, съездив в Шмидтовский проезд, что в Краснопресненском районе, он не провел двух очередных своих бесед с избирателями. Я подошел к нему и говорю:

- Слушай, Юра, чего это ты бесед не провел? Нехорошо. Нас склоняют, спрягают.

- Знаешь, не успеваю я с экзаменами.

- Это твое личное дело, если ты не успеваешь, а вести агитработу - это дело общественное. Сначала надо делать общественное, а потом личное. Не успеваешь? Ну, это у тебя два часа займет, считай, с дорогой. Возьмешь книжку домой и ночью поработаешь, вместо сна.



- Ты знаешь, я уже третью ночь не сплю, учу
- Но делать-то дело все равно надо. Раз тебя назначили агитатором - значит надо быть агитатором.
- Знаешь, вот сдам экзамен, пойду.
- Извини, тогда тебе уже надо будет следующую беседу проводить.
- Я их все сразу проведу.
- Пойми ты, может быть, ты их и проведешь все сразу, но надо то их проводить раздельно.
- Я их запишу раздельно.
- Как же ты их запишешь раздельно, когда проводить будешь вместе? А кроме того, это все знают.

Тут, по-видимому, я ему достаточно надоел, и он мне говорит:

- Знаешь что? Иди ты отсюда подальше.
- Я-то с удовольствием пойду, только имей в виду: если ты в течение сегодняшнего и завтрашнего дней эту беседу не проведешь, мы соберем бюро комсомола и тебя из комсомола исключим.
- Шутишь?!
- Нет, не шучу. У меня уже пять таких, как ты.
- А почему же меня?
- А ты из моей группы.

На том мы и расстались. Он - твердо уверенный, что я пошутил, а я - твердо знающий, что он не пойдет и нужно будет его исключать из комсомола. И я пошел разговаривать с Кисиным, который отнесся к этому совсем иначе. Он сказал:

- Ну пусть себе ругают - что ты волнуешься?
- Дело же не в том, что меня и тебя ругают - это вообще все ерунда, нас с тобой все равно будут ругать. Но он же действительно не проводит бесед!

Кисин не стал мне дальше объяснять, что их можно и не проводить.

Я беру самый яркий эпизод, чтобы была видна бессмысленность моих действий и способа жизни.

Был такой парень из военных, Постовалов. Он-то возненавидел меня совершенно лютой ненавистью. Дело в том, что он-то ни одной агитбеседы не провел. Поэтому мы Юру Стрельникова и его вызвали одновременно, и я настоял на том, чтобы бюро их из комсомола исключило. Правда, мы предварительно договорились, что сделаем это условно, в порядке воспитания. С тех пор все на курсе стали вовремя ездить на участки, точно выполнять всю работу, но мне все это "отлилось" потом, я за все это получил назад сполна. Но до этого еще нам надо дойти.

Постовалов меня ненавидел люто вплоть до того момента, пока мы с ним вместе не поработали на строительстве, - уже после того, как я был бит, и многократно бит, этим курсом. Вот там, на стройке, у нас с ним возникли очень хорошие отношения. И потом, когда меня исключали из комсомола, он выступил с длинной речью в мою защиту. И с Юрой Стрельниковым у нас позже сложились дружеские отношения, мы много лет были большими приятелями, он меня всегда навещал, когда приезжал в Москву. Но тогда для него мои действия были, так сказать, странными и "лицо" мое становилось все более и более непонятным.

Ну и, наверное, надо еще к этому добавить, что я решил во что бы то ни стало организовать философский кружок - настоящий, работающий философский кружок. Я познакомился со многими ребятами и отобрал, наверное, человек восемь-девять гуманитарно ориентированных физиков. Пошел на философский факультет, разговаривал с тогдашним деканом Кутасовым, просил, чтобы дали нам руководителя с философского факультета. В деканате посовещались, посовещались и прислали студента пятого курса Литмана (он, кстати, в Институте востоковедения работает, вроде бы, должен был докторскую диссертацию защищать не так давно, занимается восточной философией).

Мы начали с изучения античной философии. Я еще прорабатывал дополнительно по Виндельбанду "Историю древнегреческой философии". И когда Литман пришел и послушал, как мы там обсуждали Демокрита, Платона и других философов, он сказал: "Э-э-э, ребята... Во-первых, я тут ничего не понимаю из того, что вы говорите, - наверное, вы лучше меня знаете эту древнегреческую философию. А во-вторых, я твердо знаю, что до добра это вас не доведет. Лучше бы вы занимались своей физикой и не лезли в философию. А на факультете я скажу, чтобы они прислали вам квалифицированного преподавателя".

Кружок этот проработал до середины второго семестра, потом был приостановлен решением факультетского бюро. Но тогда у комсомола возникла со мной очень сложная ситуация. Иван Желудев вызвал меня к себе и сказал:

- Юр, кончал бы ты это - с философским кружком. Что - у вас тут работы мало что ли? Что - физика тебя недостаточно интересует? Если уж ты так интересуешься философией, иди на философский факультет. Чего ты ребят портишь? Обсуждают неизвестно что - как проверить, что правильно, а что неправильно? Ты пойми - сложная ситуация. Придут, послушают вас, скажут: а кто разрешил?

- Как кто разрешил? Ты же разрешил.

- Начнут меня тягать. А кому это нужно?

- Какой же ты комсомольский вожак, когда ты так рассуждаешь?!

- Я тебя за умного считал, а ты вон какие речи ведешь. Ну, давай, давай. Но мы все равно этого не разрешим. Мы примем решение приостановить.

- Ну, ваше дело в конце концов.

И бюро так тихо, тихо работу нашего кружка приостановило.

Потом, через два года, Иван Желудев мне объяснял: "Мы ж о тебе, дурак, заботились. Ну, ты пойми,

какая сложная ситуация. Мы не специалисты, ты тоже вроде бы не специалист. Ну? А кто ж вести-то будет, кто определит качество? Ты же должен был все это хорошо понимать".

Но я этого по-настоящему не понимал, это действительно не укладывалось в моем сознании. А вот "почему?" - это очень интересный вопрос.

21 декабря 1980 г.

В прошлый раз, если Вы помните, Коля, учебу и жизнь свою на физическом факультете МГУ я поделил на части, соответствующие курсам. Это довольно естественно, поскольку переход с курса на курс - для меня во всяком случае, но думаю, и для других - знаменует какие-то четко отграниченные ступеньки движения. А кроме того, я выделил несколько аспектов: собственно учебную работу, общественную работу, отношения с другими студентами, отношение к преподавателям. И рассказывал я прежде всего об учебной работе на первом курсе.

Но при этом - и я об этом подробно говорил в прошлый раз - большое влияние на меня оказывала общественная работа. Я не знаю, почему это так происходило. Может быть, потому что сама учебная работа на физфаке была построена очень плохо. Она практически ничего не давала ни для души, ни для воображения. И хотя студент должен был прилагать очень много сил для того, чтобы просто учиться, это была - во всяком случае тогда, а по моим представлениям и всегда - нудная механическая работа, которая мало развивала самого человека: он не мог найти в учебе приложения для своих духовных сил и сделать учебу формой и способом какого-то личностного роста.

А вот общественная работа открывала такую перспективу, особенно если человек был активен. Может быть, я много занимался общественной работой по этой причине, а может быть, еще и потому, что сам лично был на это ориентирован. В чем состоит эта ориентация, мне и сейчас трудно сказать. Может быть, в каких-то представлениях о культурной жизни, может быть, еще в чем-то.

Я сейчас сделаю небольшое отступление в сторону, чтобы поднять один, на мой взгляд интересный теоретический вопрос.

Вчера у нас в доме было трое геологов, занимающихся научно-организационной, практической работой. Мы обсуждали разные дела, ну а потом был обед, мы немножко выпили, в общем были, по моему, очень приятные для всех посиделки. Но при этом один из них получал, так сказать, непосредственное удовольствие от всего происходящего, и оно, возможно, также составляло содержание его жизни, а другой рассматривал этот обед как помеху для основного - для обсуждения вопросов по содержанию, ради чего он, скорей всего, и пришел; может быть, он был даже немножко недоволен тем, что разговор все время обращается на какие-то житейские аксессуары - обсуждаются обед, питье, жизнь людей и подобная ерунда.

Потом, когда они ушли, мы с Галиной поговорили обо всем этом. И в свете развиваемых сейчас нами теоретических схем, где различаются мышление и мыследеятельность, с одной стороны, и этого примера, с другой, я увидел и зафиксировал одну крайне важную, на мой взгляд, вещь. Она имеет и

достаточно широкое употребление, может применяться к окружающим людям, к каждому непосредственно как некоторый принцип анализа: характер развития всякой личности во многом определяется соотношением в ее жизни идеального содержания, чистого мышления, и обстоятельств мыследеятельности и жизнедеятельности.

Это очень важный вопрос. Причем меня этот вопрос занимает еще и в плане, скажем, моих отношений с сыном Петей. Мне представляется, что наше с ним общение - а оно было очень кратковременным и занимало в его жизни очень мало места - всегда было наполнено тем, что я обсуждал с ним содержание своего мышления. Где бы мы ни встречались - за едой, на кухне, просто ли сидели в комнате, на прогулке или в дороге - это идеальное содержание, совокупность проблем, не имеющих, казалось бы, отношения к повседневной жизни, к жизнедеятельности, всегда присутствовало. И это в каком-то смысле и есть, наверное, то главное, что он усвоил через культуру семьи.

Это очень важный момент - на что обращено сознание человека. А обращенность эта определяется тем, насколько в практических, конкретных обстоятельствах непосредственного человеческого общения, взаимодействий людей, прямых жизненных обязанностей, насколько в этих практических ситуациях присутствует "положенное" идеальное содержание, насколько оно становится постоянным и обыденным для этого человека.

Представьте себе такую ситуацию. Отец, скажем, занимается какими-то сложными инженерными разработками. Они настолько сложны, или, может быть, засекречены, или носят чисто технический характер, что это не "кладется" как содержание постоянного обсуждения. Мать, скажем, занимается каким-то делом, которое точно так же носит специализированный и неинтересный характер, и, может быть, она тоже не живет содержанием своей работы, а живет как бы внешней поверхностью явлений, т.е. возникающими по поводу этого отношения между людьми. Тогда оказывается, что в семье и в семейном обсуждении идеальное содержание просто отсутствует как таковое. И ребенок, фиксируя какие-то моменты жизни, деятельности, взаимоотношений людей, реально никогда не прорывается к этому содержанию, повторяю - к идеальному содержанию, которое есть единственно подлинное содержание. Если родители не "кладут" идеальное содержание своей профессиональной деятельности в коммуникацию, если они просто мыследействуют, то ребенок фиксирует содержание совершенно другого рода - коммунальное, обыденное.

Итак, через коммуникацию происходит какое-то удивительное взаимодействие - взаимодействие между идеальным, культурным содержанием и особенностями, обстоятельствами мыследеятельности. Это очень трудный момент, и поэтому я об этом много говорю и в разных формах. Значит, наверное, через характер коммуникации и полагается это идеальное содержание. Оно только через коммуникацию и может быть туда "положено", и весь вопрос состоит в том, как оно полагается. Оно ведь, по сути дела, ортогонально деятельности, но оно должно войти в эту плоскость, должно быть "положено" на планшет, фиксирующий мыследеятельность. И все зависит от того, как и в какой мере оно туда "кладется".

В этом плане у человека может быть очень сложная двойственность такого, например, рода. Культура семьи может складываться только из представлений о жизненных обстоятельствах деятельности. Это значит, что там существуют нравственность, высокие требования и т.д., но, хотя у

взрослых все это содержание вроде бы есть и они живут в соответствии с ним, в семейной коммуникации оно не "положено" как содержание, не присутствует. И тогда практически дети не находят его в семье и впервые начинают получать, скажем, в университете или, в лучшем случае, в старших классах школы. У них, фактически, возникает расхождение между двумя культурами: культурой семейной жизни, содержание которой в силу неразумения взрослых, коммуникативного в известном смысле неразумения, оказалось таким вот деятельностным, жизнедеятельностным, коммунальным, и той культурой, с которой они встречаются при обучении в университете, к примеру, или в старших классах, когда через изучение наук, через знание это идеальное содержание впервые перед детьми или молодыми людьми "кладется" и впервые становится содержанием их жизни. Но опять-таки очень странно - оказывается содержанием не жизни, а только учебной деятельности, учения в широком смысле. И получается, что образуются как бы две сферы: сфера жизни как таковая и сфера учения, которые разделены границей и не переходят друг в друга, никак друг с другом не стыкуются, хотя могут быть зафиксированы как таковые. Отсюда, скажем, жизнь нередко вступает в противоречие с идеальным содержанием мыследеятельности и определяет жизненные решения того или иного человека.

Эта ситуация может, к примеру, вылиться в такой тезис: я закончил (или закончила) университет, я уже не могу позволить себе сидеть на шее у родителей, я должен (или должна) работать. И человек идет работать для того, чтобы "получать" деньги, зарабатывать их. Надо вроде бы иметь содержание своей жизни, но ведь надо же и работать, и требование "работать" не имеет отношения к этому содержанию. Это требование, безразличное к содержанию (надо работать, чтобы зарабатывать деньги), лежит совсем в другой плоскости, и эти плоскости еще должны быть состыкованы.

Короче говоря, дело даже не в том, что мышление как таковое отделено от мыследеятельности, а в том, что они еще часто и не состыкованы в жизненном развитии человека. Они трудно стыкуются, разрываются в силу тех противоречивых требований, которые ставят перед человеком, с одной стороны, условия жизни, а с другой - служение (здесь это слово самое уместное), служение чистому мышлению как таковому. И поэтому человек может плюнуть, так сказать, на свои интересы и идти работать. И неизбежно - поскольку иначе ему будет очень трудно - он начнет отстаивать тезис, что идеальное содержание должно быть вторичным, что оно должно быть подчинено условиям обеспечения жизни.

Больше того, в предельных случаях человек может жить, проживать свою жизнь, так никогда и не выходя к этому идеальному содержанию. Он может получить специальность, быть, скажем, психологом, педагогом, лингвистом или архитектором, но при этом так никогда и не прорваться к идеальному содержанию, образующему сущность данной профессии как способа мышления.

Это крайне важный и принципиальный момент. Вот сейчас, в ретроспективе, глядя на свою прошлую историю, я все больше и больше убеждаюсь в неимоверной значимости этого момента. Причем осознается мною это только сейчас, потому что если бы я понимал все так двадцать лет назад - именно понимал и знал, - то, может быть, я бы иначе строил взаимоотношения с некоторыми людьми, скажем, с Андреем (сыном жены), да и со многими другими. Я, например, поймал себя на том, что мы с Андреем много обсуждали вопросы мыследеятельности, исторические события, проблемы способов жизни, но не содержание. (...)

Но теперь я все это обернул бы. Фактически, я ведь вам до этого все время рассказывал, что вот в моей жизни так случилось - не знаю, может быть, отец и мать это понимали, а может быть, это происходило само собой, мне сейчас трудно сказать, - что это идеальное содержание всегда существовало как реальное и было более значимо, чем реальное. Может быть, дело в том, что еще существовала та культура старой интеллигенции, где были какие-то, может быть, неотфиксированные приемы подачи этого содержания, выкладывания его - то ли за счет покупки и чтения определенных книг, то ли за счет определенных порядков в доме... Ведь это жило и действовало даже вне воли людей и их сознания, а сейчас разрушается, теряется даже весьма интеллигентными людьми.

Может быть и так, но вообще-то это всегда было, всегда существовало и, что очень занятно, с одной стороны, превалировало, а с другой - непрерывно входило в реальную жизнь и определяло способ действия в этой реальной жизни.

Наверное, это и есть то самое, что выражается известным словом "идеалист". У меня сейчас даже возникает подозрение, что именно то, о чем я сейчас рассказывал, имелось в виду, когда говорили: "вот он - идеалист", "подлинный идеалист" и т.д. Но при этом мне вроде бы приходится восстанавливать и придумывать этот смысл заново, поскольку он утерялся в трансляции. Четкое понимание и знание этого смысла мне не были переданы. Он появился для меня в результате, может быть, даже открытия благодаря определенному стечению обстоятельств.

В общем, так получилось, что для меня идеальное содержание - я уже говорил вам об этом - всегда превалировало. Но смотрите, как вроде бы изящно получается в объяснительной модальности. Учебная работа на физфаке, как и вообще в университете, не создавала условий для реализации идеального содержания мыследеятельности - активной, полной мыследеятельности. И общественная работа, фактически, стала для меня областью, где идеальное содержание могло реализовываться и прикладываться, или, говоря еще грубее, как раз общественная работа и была тем миром отношений, действий, где я мог это - почерпнутое мною из чтения книг и в процессе формирования моей микрокультуры - содержание полагать в свое мыследействие, реализовывать его. На самом деле, я все время и пытался это делать, и когда я создавал философский кружок, я как раз и хотел наладить обсуждение этого содержания, но опять-таки не самого по себе, а в целях включения его в агитационно-пропагандистскую работу.

Это и было самое смешное. Когда меня спрашивали, зачем мы изучаем древнегреческую философию, я отвечал с совершенно голубыми глазами и искренним сердцем: "Для того чтобы реализовать постановление партии и правительства об оживлении и укреплении идеологической работы и усилении коммунистического воспитания". В моем представлении так оно и должно было быть. И точно так же я подходил и ко всем другим. Мне казалось (такова была удивительная моя наивность, тупость, упрямство, косность, глупость - как хотите, называйте), что эта идеология (т.е. подлинный идеализм, почерпнутый мною из книг) не реализуется вокруг меня, а ее надо реализовать.

Тогда у меня вовсе не было (это появилось много позже) представления о том, что могут быть два мира, так сказать, идеальный и реальный, две жизни, две истины.... Идеальное должно было быть воплощено в реальном. В этом и состоял смысл мышления и фиксации этих идеальных принципов. Иначе я себе этого не мог и помыслить, за счет чего, по-видимому, и обеспечивалась совершенно

удивительная для того времени цельность. Дурацкая цельность, которая была загадкой для моих сверстников, соучеников и коллег. Они просто не могли понять, как это в тех сложнейших условиях социальной жизни, в которых мы жили, можно было быть таким цельным дураком.

Красивее всех это выразила (уже относительно недавно, лет десять назад) Марина Мансурова, дочка известного профессора-социолога, которая сказала: "Георгий Петрович, вы удивительно наивны, раз не понимаете, что мир книг - это один мир, а реальный мир - это совсем другой мир. И из одного в другой ничего переносить нельзя". Эта фраза свидетельствует, что она понимала это различие, хотя я бы усомнился, поскольку не уверен, что люди по-настоящему и глубоко осмысливают то, что говорят; она это сказала, но скорей всего не понимала того, что говорит - подлинной значимости своих слов.

Я-то в те студенческие годы точно не понимал этого, но пытался реализовать. И поэтому естественно, что к концу первого курса я пришел с очень печальным результатом, поскольку, так сказать, в глазах того общества, в котором я жил, вроде бы вел я себя как последний карьерист, хотя на самом деле им никогда не был. Безусловно, эта попытка реализации идеологии в жизни и требование, чтобы жизнь других людей подчинялась идеологическим установкам, казались очень странными. Поэтому вполне естественно, что в коллективе у многих возникло весьма устойчивое желание поймать меня на лжи, вскрыть эту ложь. И главное теперь для моих коллег по факультету состояло в том, чтобы выяснить: а по каким же законам и принципам живу я сам, требующий от других реализации идеальных принципов? И показать, что сам-то я этим принципам не следую.

Очень сложное положение было и у факультетского бюро, поскольку я был вроде хорошим общественным работником. Все, что мне поручалось, я выполнял, какие бы трудности это ни составляло: агитколлектив оказался самым лучшим, газета выходила регулярно и даже считалась интересной, спортивная работа опять же была на высоте, заседания бюро собирались вовремя и были очень острыми и, так сказать, живыми... Это - с одной стороны, а с другой - руководители факультетского бюро прекрасно понимали, что между мной и коллективом курса возникла пропасть, очень четкое и жесткое отчуждение и недоверие.

Тут я перехожу ко второму, очень важному пункту. Я все время оставался, фактически, одиноким в коллективе курса и не входил ни в одну из групп. (Это сама по себе очень интересная проблема - студенческие группы на курсе. В принципе-то ее нужно исследовать всерьез, это невероятно интересно, но таких исследований, детерминированных пониманием существа возникающих здесь проблем, сегодня нет.) Может быть, это удел детей из интеллигентных семей - я не знаю, входят ли они в группы такого рода. Но это очень странно, на курсе были ведь такие люди, с которыми я был очень тесно связан и в жизни. Например, Генка Гуталевич из Подольска. Он не попал на факультет, не прошел по конкурсу, но ему разрешили ходить на занятия, учиться, обещали, что, если он сдаст экзамены за первый курс, то его зачислят потом на очное отделение на второй. Мы с ним как-то очень тесно сошлись, он часто оставался у нас дома ночевать, поскольку ездить в Подольск далеко. Мы были с ним как-то жизненно связаны, но при этом оставались совершенно чужими, даже не столько потому, что принадлежали к разным социокультурным стратам, сколько потому, что были личностно очень разными людьми. Вот он-то был, как я теперь понимаю, человеком, соответствующим времени. Ему нужна была группа, и меня он рассматривал как члена определенной социальной группы. Его отношение ко мне определялось этой установкой, и именно в этом плане я ему был нужен.

Это очень правильная, оправданная установка, но только я-то ничего не понимал, и потому для меня в принципе не существовало групповых отношений с людьми. Я сталкивался с каждым как с индивидом и личностью, не понимая этой групповой структуризации, и поэтому, пройдя физфак, а дальше философский факультет, практически до встречи с Александром Александровичем Зиновьевым, я всегда оставался один. Причем это одиночество - и в этом вся суть - не было одиночеством в традиционном смысле ("он одинок"), поскольку я ничего подобного не чувствовал. И более того, мне эта принадлежность к группе вообще не была нужна: мне было достаточно самого себя и моей деятельности; деятельность, или мыследеятельность, заменяла мне групповые отношения. Это было одиночество в смысле, так сказать, автономности индивидуального существования, противопоставленности его всем остальным.

У меня были, скажем, какие-то особые отношения с Юрой Стрельниковым, одним из тех студентов физфака, которых я исключал из комсомола, как я уже Вам рассказывал. Потом он, решая для себя сложную задачу, кто я - циничный, лживый карьерист или дурак, который принципы воспринимает всерьез и, так сказать, реализует их неуклонно, пришел к выводу, что я - второе. И с тех пор началась наша очень долгая и тесная дружба, несмотря на мою отчужденность.

Возникали отношения и с другими людьми, но при этом я оставался один в группе и один на курсе. Я оказался совершенно чужим для курса, и поэтому факультетское бюро решило не продвигать меня дальше по общественной лестнице, вообще никак не выдвигать, а найти мне что-то вроде частной общественной работы. Была даже какая-то занятная беседа, когда вызвал меня Иван Желудев, закрыл дверь и, так сказать, всячески обхаживая с разных сторон, старался аккуратно сформулировать эту мысль, поскольку то ли боялся обидеть меня, то ли вызвать неожиданную для него реакцию... А мне было, между прочим, абсолютно все равно, чем заниматься, - в принципе. Оказывается, бюро решило сделать меня пропагандистом в одной из групп первого курса. Это был очень редкий случай, когда студент второго курса, не будучи членом партии, становился пропагандистом в группе первого курса. Но Иван Желудев за меня поручился, сказал, что я очень силен.

И еще произошла очень характерная история. Мы должны были ехать на работы (я мельком уже говорил об этом). За два дня до этого я заболел воспалением легких и в день отъезда лежал с температурой сорок, чуть ли не в бреду, и на сборный пункт, естественно, не явился. Приехала делегация из ребят к нам домой, чтобы выяснить, каким образом я укрываюсь. Там был, в частности, и один из тех, кого я исключал из комсомола, - Постовалов. Потом меня вызывали на факультетское бюро, где это все обсуждалось. Короче, уже начали назревать такие симптоматичные явления, через которые, кстати, проходят многие и многие.

Вообще, есть такая проблема - существование интеллигентного студента в вузе. Насколько я понимаю, нечто подобное было в какой-то момент и у Вас, Коля. Сама по себе это очень стандартная, типичная история.

На втором курсе все это начало разворачиваться в серию конфликтов и привело к первому характерному взрыву, когда меня уже начали было исключать из комсомола. Здесь наложились друг на друга две группы событий.

Первая связана с моей работой в качестве пропагандиста. Я рассказывал студентам первого курса - в связи с постановлением партии и правительства об усилении идеологической работы - о Платоне и



Аристотеле, про борьбу материализма и идеализма, об агностицизме Канта, про Достоевского, который в те годы был, фактически, недоступен, и многое другое. После четырех, наверное, занятий, которые ребятам очень нравились, наши семинары начали проходить при постоянном участии проверяющих комиссий, а примерно на седьмом или восьмом занятии (я увеличил их число, чтобы чаще собираться и обсуждать все эти работы) меня вызвали в партком и долго расспрашивали, зачем мне Платон или Кант и какое это имеет отношение к пропагандистской работе. Я старался как-то объяснить. Тогда от греха подальше меня освободили и от этой работы, но дальше это небольшое происшествие наложилось на более страшную историю.

Тут я опять должен вернуться назад. На первом курсе, на семинарах по основам марксизма-ленинизма, я пришел к выводу, что стыдно не прочесть, ну, скажем, пару раз, от корки до корки в хронологической последовательности собрание сочинений В.И.Ленина и вообще восстановить историю большевизма. Поэтому параллельно с занятиями физикой я начал, читая Ленина, усиленно заниматься историей партии. Фактически, я проходил эту историю, восстанавливая обстоятельства, изучая документы по старому изданию, где много примечаний Бухарина, Рязанова, Радека и других деятелей партии, и вообще мысленно разыгрывал, как эти события разворачивались, какие были люди, в какие отношения они вступали друг с другом и т.п.

И поэтому к началу второго курса я уже довольно хорошо знал и понимал ленинскую идеологию, подлинную, причем с позиции заимствованной, с позиции члена партии тех лет, так как я мысленно это проиграл через все съезды, через партийную борьбу.

Ну, поскольку я довольно хорошо выступал на семинарах, группа начала очень скоро использовать это мое качество, т.е., когда был какой-нибудь очень сложный семинар и никому не хотелось готовиться, меня выпихивали, и я делал доклад, что-то рассказывал и т.д. Преподавателем тогда у нас был уже не Туз, а Марон. Такой яркий, жгучий еврей - еврейство у него было написано на всем - с гигантским крючковатым носом, нависшим над тонкими губами, большой знаток истории партии, как впрочем и все аспиранты кафедры истории партии. Причем в те годы они знали это по-настоящему, т.е. действительно, как и я, жили событиями партийных съездов. Мы с ним нередко спорили по одному, по другому вопросу - когда он меня поправлял, когда я его. В общем, разговаривать с ним было очень интересно.

Но дальше произошло вот что. В этот момент вышли первые материалы Коминтерна, послевоенного Коминтерна, который потом начал называться "Совещания коммунистических и рабочих партий". Вы знаете об этом или нет? Во время Второй мировой войны в 1943 году Коминтерн был распущен - в порядке реализации союзнических обязательств Советского Союза перед США и Англией. Фактически, Коминтерн был распущен для того, чтобы не смущать англичан и американцев экспортом пролетарских революций. Ведь Коминтерн был орудием экспорта революции. Это была организация, призванная осуществить социалистические революции во всем мире. Тогда существовал и этот знаменитый Институт международного рабочего движения, который специально занимался изучением условий восстаний, революционной борьбы и т.д., причем широко, не закрыто, не в форме сетей разведчиков, функционеров и т.д., а открыто, на идеологическом уровне. Это была идея всемирной революции в ее организационных формах.

Так вот, в мае 1943 года Коминтерн был распущен и в последние годы войны не действовал - как

потом будет сказано, для того чтобы дать возможность развиваться национальным компартиям, которые должны были выглядеть как независимые от Москвы. Но после того, как победа была закреплена и возник широкий круг социалистических государств, или социалистический блок, в который входили и такие страны, как Югославия, нужно было восстановить Коминтерн в новой форме. Его создали в виде так называемых "информационных совещаний". Первое совещание состоялось в Белграде, в Югославии.

Кстати, Вы должны понимать, что в это время ни в Румынии, ни в Чехословакии, ни в Венгрии, ни даже в Польше не было еще социалистического режима в точном смысле этого слова. Это был переходный период - революции же начались потом, в году 1948-м. Это был переходный период, когда в этих странах создавались народные фронты, в которые входило много разных партий; коммунистическая партия имела решающий голос, но только в силу советского присутствия в этих странах. И она постепенно переворачивала всю страну, захватывая власть.

Итак, вроде бы все эти страны попали под нашу эгиду, но ни соответствующих политических преобразований, ни партийной, ни народной консолидации еще не было. Поэтому до социализма им было далеко, и обсуждался вопрос о том, как, собственно говоря, они будут идти - своим или не своим путем, общим или не общим - к социализму. Именно для этого собрались представители рабочих и коммунистических партий в Белграде, собрались, чтобы обсудить стратегию и тактику дальнейшего развития всемирной социалистической революции.

Естественно, что во всех вузах страны студенты должны были изучать и прорабатывать соответствующие материалы. Марон спросил, кто будет делать основной доклад. Группа хором назвала меня. Я не отпирался, приступил к чтению этих материалов и, изучая их, пришел к выводу, что политика Югославии, принципы, которые были выдвинуты на этом совещании Эдвардом Карделем и другими, не соответствуют основным принципам ленинской политики. И сделал об этом подробный доклад, охарактеризовал работу совещания, обсудил его смысл и значение. И при этом подробно, с доказательствами остановился на том, что программа, предлагаемая в докладе Эдварда Карделя, - программа развития Югославии - не соответствует пути социалистического развития.

Вы даже не можете представить себе, что было. Если же Вы думаете, что я тогда понимал, что говорил и делал, то Вы ошибаетесь. Я был идеалист, дурак: для меня теории, теоретические принципы существовали как первая и подлинная реальность, все остальное было творимым в соответствии с этим, поэтому теоретический анализ этих положений и был для меня главной реальностью, которую надо было вскрывать. Больше того, у меня не было никакого понимания социальности - в узком и в широком смысле. Ну, например, я в этот момент не задумывался, не отдавал себе отчета в том, в какую социальную ситуацию, в какое место попадет человек, который позволяет себе делать какие-либо собственные утверждения по поводу материалов, опубликованных в газете и изданных официально Госполитиздатом, в таком толстом красном сборнике. И вообще, в какое положение попадет человек, который, будучи еще на студенческой скамье, умозаключает по поводу программы, представленной социалистической страной Югославией в лице ее главных социалистических лидеров Карделя, Тито, Джиласа (на совещании было три их доклада)? В какой мере он может ее обсуждать, а тем более как-то квалифицировать?

Марон месяца на два стал белый как бумага, цвет его лица уже не менялся. Он не понял сначала, что

надо делать, и не справился со мной. Он пытался прервать мой доклад, сказать, что это уже не интересно, что студенты получили информацию, но я настаивал на том, чтобы договорить - опять же по наивности своей. И он сообразил, что если он вообще будет вмешиваться и спорить со мной, то он становится как бы соучастником преступления. Поэтому он только спросил меня, понимаю ли я, что говорю. Я сказал, что да, очень хорошо, что потому и говорю, что понимаю.

Я совершенно не задумывался над тем, в какое положение ставлю его и что он должен делать. Идеализм есть идеализм - со всеми вытекающими отсюда последствиями. И это стало одним из самых больших событий на нашем курсе. В результате я получил "посредственно" по марксизму-ленинизму на втором курсе, что организационно означало постановку вопроса об исключении из университета, потому что в то время студенты на нашем факультете, имеющие "посредственно" по этому предмету, зачислялись в "неблагонадежные". Это было нечто вроде клейма о несоветском образе мыслей. И тогда возникло очень сложное, шумное и громкое дело (оно разворачивалось уже во второй половине года) об исключении меня из комсомола за незнание основ марксистско-ленинской теории, за вредную, совершенно неправильную оценку положения дел в социалистической Югославии, за упрямство в отстаивании своих тезисов, утверждений и т.д. Все это, естественно, прибавлялось к какой-то странной работе в качестве пропагандиста. Вспомнили кружок. Вообще, так сказать, сложилось одно к одному, и началось дело, где я впервые мог проверить отношение ко мне моих товарищей по группе, курсу, факультету.

Действительно, комсомольский активист, заместитель секретаря курсового бюро по агитации и пропаганде, пропагандист, редактор стенгазеты - и вот оказывается таким, так сказать, чуждым нашей идеологии, нашей мысли человеком.

Я думаю, что меня тогда, в первую очередь, конечно, спасло положение отца. Если бы это сделал кто-то другой, его вышибли бы из университета, исключили бы из комсомола, и на этом все с ним было бы кончено. Но в данном случае приходилось как-то считаться с положением моего отца, неизвестно было, что последует за моим исключением. Но я думаю, что со мной все равно расправились бы, поскольку дело уже вырвалось - как джинн из бутылки, - из-под контроля... если бы вдруг не появились партийные документы, в которых именно так и была оценена вся политика Югославии. Вы и эту историю не знаете?

Иосип Броз Тито отказался идти на поклон в Москву, и были опубликованы документы, характеризующие политику югославской компартии как ревизионистскую. И там использовались те же самые аргументы, которые выдвигал я, поскольку политика Югославии действительно была не социалистической в нашем тогдашнем понимании смысла этого слова, и Вы сейчас представляете это расхождение нашего пути и их пути. Поэтому вдруг оказалось, что я не только не ошибся, но даже вроде бы глядел вперед.

Партийные органы - курсовые, факультетские - должны были сформулировать отношение ко мне. И все оказались в очень трудном положении, тем более трудном, чем больше те или иные люди кричали, махали руками и доказывали, что меня надо убрать, исключить и т.д. Надо было как-то определяться. И вот тут я впервые в своей жизни столкнулся с формулой: дело не в том, что я говорил, а дело в том, когда я это говорил - своевременно или не своевременно. Мне впервые начали объяснять совершенно очевидную для меня сейчас истину, что прав всегда тот, кто колеблется вместе

с линией партии, а тот, кто опережает эти колебания - в какую бы сторону он не отклонялся, - тот не прав.

Это было сформулировано очень четко, и, может быть, Коля, именно с этого момента возникает проблема социологии, социологического аспекта наших работ в Московском методологическом кружке. До этого я читал работы 20-х годов по социологии, но это еще один пример того, что просто чтение не дает реального побудительного мотива для деятельности: оно остается в сфере мышления, т.е. чего-то иного.

А тут я впервые вынужден был задуматься над социальной практикой нашей собственной жизни. Начались как бы первые серьезные уроки, и с этого момента, т.е. с 1948-го года, эта сторона коллективности, социальности, социализированности становится для меня предметом размышлений, можно даже сказать, постоянных размышлений; хотя содержание их постоянно менялось, оставался социальный момент - точнее, проблема принадлежности человека к социальной организации, его поведения в социальной организации.

Но это был самый трудный момент, поскольку в том марксизме, который мы все изучали, на самом деле социологии не было. Когда сейчас говорят, что Марксова теория представляет собой социологию деятельностного материализма, то говорят в общем-то глупости: в марксизме нет никакой социологии и никогда ее не было.

Исторический материализм не есть социология, поскольку исторический материализм практически никогда не затрагивал проблемы социальной организации. Марксизм создавал социальные организации, вся его идеологии и философия была направлена на создание социальных организаций. Но это обсуждалось как проблема партии - партии и народа, партии и идеологии, самой передовой партии и профсоюзов, скажем, как приводных ремней, человека и партии, т.е. обязанностей члена партии, его целей, назначения и функций, - и, будучи в общем-то каким-то моментом социологии в широком смысле слова, отнюдь не выводило к постановке вопроса о социальных аспектах жизни человека. И эта самоочевидная вещь, которую все граждане Советского Союза познавали на собственной шкуре, а именно принадлежность к социальной организации определенного типа, эта сторона дела никогда не выводилась на уровень обсуждения, осознания, осмысления и понимания.

Между тем, люди могут сколько угодно сталкиваться с социальной организацией, но они никогда не поймут и не могут этого понять, пока эти конфликты не будут выведены на уровень знакового изображения и знаковой фиксации. Поскольку понимать вообще можно только то, что выражено в знаках, и мир становится предметом такого специального понимающего осознания лишь в той мере, в какой он выражен в знаках, - через свою фиксированность в знаковых формах.

Понять нечто в реальности, в реальной ситуации нельзя в принципе - в силу устройства функции понимания: она не для этого сделана, не для этого возникла. Понять можно только некое знаковое изображение. А поэтому, повторяю, ни я, ни любой другой, сколько бы ни была нас жизнь и какие бы уроки мы ни получали в результате своих ошибок поведения в социальной организации, мы понять ничего не можем, можем только приспособиться, научиться вести себя так, что бить нас не будут. И отсюда вытекала проблема - но я шел к ней очень медленно - теоретического изображения всего этого в схемах.

Мое персональное дело было прекращено уже на последней стадии. Две инстанции меня исключили из комсомола, а факультетское бюро прекратило обсуждение этого дела и решило, что ничего и не было. Мне объяснили, в чем я не прав, и я в первый раз спасся совершенно неожиданным образом от, по-видимому, весьма ощутимого удара.

Я не останавливаюсь сейчас на всех обстоятельствах и фактах моей жизни и поведения моих товарищей, ибо это не имеет отношения к собственно делу, хотя там было много интересного и весьма поучительного (скажем, отношения с тем же Мароном). Я обо всем этом больше рассказывать не буду, существенно лишь, что все это повлияло на мое дальнейшее развитие.

Позднее, во время летней работы в августе 1948 года, произошла еще одна история. Мы работали в обсерватории Штернберга, здесь в Москве, в группе со Стрельниковым и Постоваловым. Был еще очень интересный парень у нас на физфаке - Щеголев, спокойный, очень вдумчивый... Как раз в это время вышли документы сессии ВАСХНИЛ с докладом Лысенко. Мы обсуждали материалы этой газеты, и я с пеной у рта доказывал ребятам, что все это глупости и вообще подтасовка, что никакой теории Лысенко не существует, что, конечно, морганисты, менделисты, вейсманисты правы и т.д. и что все это вскоре выяснится. Но надо сказать, что, по-видимому, мои товарищи все-таки понимали куда больше, чем я, или были куда адаптивнее и умнее; они уже не спорили со мной, и, насколько я понимаю, даже никто из них не донес. Вот это очень интересно, поскольку дискуссии проходили очень резко, а я был настолько оглушен и шокирован этой историей, мне это казалось настолько страшным, неразумным, бессмысленным - вся эта демагогия, покаяния людей... А тут еще прибавились собственные семейные обстоятельства, потому что наша семья стала в это же время предметом примерно такой же истории - о чем, наверное, я тоже должен сейчас сказать.

В конце 40-х годов страна опять переживала какой-то переломный, очень сложный момент: ставился вопрос - не только во внешнеполитическом плане, но и во внутреннем - как жить и работать дальше. И среди тех, кого мы сейчас называем технократией, советской технократией, т.е. среди руководителей заводов, министерств, сложилась группа, которая очень детально обсуждала перспективы последующего развития страны. Отец был включен в эти обсуждения по долгу своей службы, поскольку Институт организации авиационной промышленности также должен был ответить на вопрос, как дальше будет развиваться наша авиационная промышленность.

Как грамотный инженер, прошедший в общем-то хорошую школу организации, он придерживался взгляда, что дальнейшее нормальное развитие народного хозяйства страны невозможно без специализации заводов и установления разветвленных, хорошо обеспеченных кооперативных связей между этими заводами.

Вы, наверное, знаете, что все наше заводское хозяйство строилось на принципах автаркии, т.е. каждый завод представлял собой автономное целое, такой организм, который делал все, что ему нужно, т.е. фактически у нас существовали замкнутые объединения (это то, к чему сейчас стремятся перейти). Если, скажем, был авиационный завод, то это всегда был не один завод, а пять-шесть заводов, которые делали все необходимое для самолетостроения, и масса маленьких заводов, цехов, которые... ну, скажем, асбест нужен - они производили асбест, кирпич нужен - они производили кирпич и т.д. Все это должно было быть локализовано в одном месте. Это и получило название автаркического хозяйства.

Но вот теперь встал вопрос: что будет после войны?

Группа директоров, а среди них наиболее активными были авиационные директора, поскольку авиационная техника была и до сих пор, наверное, остается самой передовой не только по средствам, которые она использует, но и по формам организации, - группа директоров и выступила тогда. Появилась статья в газете "Правда". Но были и внутренние документы, где говорилось о необходимости предоставить больше прав директорам, разрешить увольнять людей, устанавливать достаточно свободную оплату труда в каких-то рамках, при этом они обещали повысить производительность труда при тех же финансовых затратах и т.д. Эту линию, по-видимому, проводил и поддерживал Маленков. Он заведовал партийными кадрами и одновременно был ответственным за оборонную промышленность. У него был свой круг людей, и отец входил, наверное, во второй эшелон тех, кто работал с ним. Первый круг - министры, заместители министров. В авиационной промышленности до 1946 г. министром был Шахурин, первым замминистра - Дементьев. Отец занимал положение второго уровня.

Отцу как раз и было поручено разработать проект новой организации - обоснование, расчеты и прочее. Но ситуация резко изменилась: Маленков был оттеснен на задний план, на первое место вышел Андрей Жданов. Естественно, он начал отовсюду убирать людей Маленкова, шла острейшая подковерная борьба, и в конце концов первый слой его людей (самого Маленкова не могли тронуть) просто посадили. В 1948 году был арестован Шахурин: аресты шли на очень высоком уровне. Шахурин был генерал-полковник, герой соцтруда и т.д., причем кадровый партийный работник, который прошел всю вертикаль от секретаря парткома первого авиационного завода до министра и члена ЦК ВКП(б). Были арестованы работники аппарата ЦК, курировавшие авиационную промышленность, танковую и т.п.

Из части этих людей Жданов набирал свою команду, и министром авиационной промышленности стал Хруничев, а секретарями ЦК члены так называемой ленинградской группы, в частности ленинградский секретарь обкома Алексей Кузнецов. Это та ленинградская группа, которая через полтора года будет расстреляна. Их расстреляли после смерти Жданова в 1948 году.. Я до сих пор не знаю, как и почему умер Жданов - своей смертью или не своей, думаю, не своей. Было такое дело, дело ленинградской группы, под которое попал и намечавшийся тогда преемник Сталина, Вознесенский, бывший в 1945 году председателем Госплана СССР. Его расстреляли вместе с этой ленинградской группой.

- Это какой год?

Я сейчас рассказываю Вам про конец 1947 - начало 1948 года. А расстреляны они были в 1949 или в 1950 году.

- А в чем их обвиняли?

Их просто расстреляли.

А обвинение было в том, что они якобы пытались отделить Россию от Советского Союза и перенести из Москвы в Ленинград столицу РСФСР. Они ничего этого не хотели делать, поскольку они уже все сидели в Москве и были не ленинградскими секретарями, а секретарями ЦК. Все эти обвинения

просто смешны.

Итак, вот происходил этот поворот, и тогда же в поле моего зрения появился замминистра авиационной промышленности Василий Васильевич Бойцов, (нынешний председатель Комитета стандартизации), который был через некоторое время назначен на место отца, начальником Оргавиапрома. Но дальше возникла очень интересная ситуация. Отца вызвали на коллегию, сообщили, что на его место назначен Бойцов, и сказали, что он вполне сможет продолжать работу как заместитель Бойцова, но только он должен теперь написать, что предложенная им программа специализации и широкой кооперации авиационных и всех других советских заводов является неверной и что, наоборот, следует сохранить принцип автаркии.

Отец отказался и сказал Хруничеву, что поступит иначе и пошлет все документы (они составляли большущий том) в ЦК партии с выражением своего несогласия с решением коллегии.

Надо сказать, что нравы тогда были довольно патриархальные. Насколько я знаю по рассказам отца, Хруничев сказал ему: "Петр Георгиевич, чего Вы дурака валяете? - вот таким вот хорошим отеческим голосом. - И зачем Вам это нужно? Я Вас по-хорошему прошу, напишите все как надо, и все будет в порядке".

Проблема эта обсуждалась дома, что тоже очень интересно. Я помню, мать болела, лежала с тромбофлебитом. Позвали даже меня, хотя я был всего лишь студентом второго курса. Отец ставил вопрос так: нужно принимать жизненно важное, принципиальное решение - что же он должен делать. Надо сказать, он всегда советовался с матерью, и, фактически-то, такие жизненно важные вопросы на самом деле решала она. Сразу после войны ему было предложено стать руководителем авиационных заводов на территории оккупированной нами Восточной Германии. Выслушав все, она жестко и четко сказала: "Нет!". И это было настолько весомо, что отец пошел к министру и сказал "нет". И когда министр спросил его почему, он ответил: "Жена сказала: нет".

Вот точно так же он советовался и по этому поводу. Я со своим идеализмом сказал: "Ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя писать противоположное тому, что было. Либо ничего не писать и уйти, вообще сбежать, уйти на другое место, пока не выгнали, либо добиваться и стоять на своем. Но здесь я не могу решать, поскольку не знаю всех обстоятельств. Борьба есть борьба, и нужно брать ее реально". Мать на этот раз не ответила определенно, а отец был, по-видимому, очень упрямый мужик и тоже, как и я, в социальном смысле недалекий, и он послал все документы в ЦК партии с "сопроводилкой": считаю этот путь гибельным, неправильным и представляю всю документацию на суд руководства партии.

Он был уволен. А дальше в дело вступила особая выдумка Андрея Жданова. Он ввел тогда такую штуку, которая получила название "суд чести". Был даже фильм с таким названием. Всего в советской стране состоялось три "суда чести". Один - над советскими профессорами, медиками Ключевой и Раскиным, которые якобы продали американцам секрет борьбы с раком. Другой - над министром медицинской промышленности Митриевым, за то что он будто бы вступил в сговор с американцами и наладил совместное производство сульфамидов и только что появившихся тогда антибиотиков. И вот третий - над отцом, за то, что он наметил и отстаивал неправильную линию развития советской промышленности.

"Суд чести" имел весьма интересную юридическую структуру. Дело в том, что обвинитель выступал после обвиняемого. Обвиняемым предоставлялось только одно право - признать себя виновным, альтернативы не было. Признать себя виновным еще до выступления обвинителя. Значит, каждый обвиняемый должен был выступить в качестве собственного обвинителя, а уж то, что он не договорил, скажет обвинитель. Обвинителей же бывало по три-четыре, был государственный обвинитель, общественный обвинитель и еще кто-то. Суд был публичным. В данном случае в зале собралась вся верхушка авиационной промышленности. Длилась эта процедура пять дней, выступали разные люди, клеймили, зачитывался список преступлений и т.д. Защита в принципе не была предусмотрена.

Надо сказать, что отец мой, конечно, действовал не самым лучшим образом, поскольку он сначала пошел в драку, отстаивал свою позицию, а сдался только в последний, пятый день этого суда чести, и опять же в очень характерной ситуации.

Обвинителями были генеральный конструктор Яковлев, замминистра авиационной промышленности Кузнецов (в нашем доме жил над нами, и я дружил с его дочками). Я запомнил их и еще несколько человек. Тот, с кем всегда непосредственно работал отец, Петр Дементьев - в прошлом первый заместитель министра, в то время вынужденный после ареста Шахурина стать одним из последних заместителей, - сидел очень тихо.

Надо сказать, это был очень умный человек. Он поднялся потом, стал министром авиационной промышленности, умер совсем недавно. Вообще, это был тот человек, без которого, наверное, авиационная промышленность наша не могла бы вообще существовать. Это своего рода Алексей Косыгин в рамках одного министерства, т.е. человек, который реально руководил всей работой и в мыследеятельности которого стягивались все реальные мысли. И вот пока и поскольку был такой человек, до тех пор и постольку работала сама промышленность, оставаясь единой, координированной, связанной и т.д. И вот такой человек вынужден был уйти на пост одного из последних заместителей министра, а их в то время у министра авиационной промышленности было то ли 12, то ли 14.

Отец ходил в разные инстанции, пытался доказывать, что он прав, что это самоубийство развивать промышленность таким образом, что это не приведет ни к чему хорошему, что мы начнем отставать и т.д.

Самой показательной, конечно, была встреча с секретарем ЦК КПСС Кузнецовым. Отец к этому времени уже не работал. Он был уволен, а дальше его судьбу решал уже сам Хруничев, он сказал: "Никакой ему работы выше девятисот рублей". И примерно месяцев восемь отец ходил без работы, поскольку нигде не мог устроиться. Так вот, в это время, когда он уже был без работы, его вызвали к Кузнецову.

Принял его Кузнецов у себя в кабинете и в течении всего разговора чистил пилочкой ногти, вычищал грязь из-под ногтей, полировал их, приводил к правильной форме и - давал урок социальности. Он сказал: "Петр Георгиевич, ведь Вы так давно работаете в авиационной промышленности, как же Вы до сих пор не смогли усвоить основных принципов нашей организации? Если министр сказал, что надо делать вот так, то значит, так и надо делать. Нам совсем не нужна отсебятина разного рода". Опять же это к вопросу о патриархальности. Отношения действительно были патриархальные в



полном смысле этого слова.

Отец начал говорить что-то насчет долга коммуниста перед страной и прочее. Кузнецов слушал устало и брезгливо и, наконец, сказал: "Петр Георгиевич, ну в Вашем-то возрасте не понимать законов жизни. Ну как Вы представляете себе, когда пишете эту бумагу, что я, получивший ее, буду делать? Я ведь ничего не понимаю в вашей авиационной промышленности, ей Богу. У меня нет никаких средств решить, куда она должна двигаться - в ту сторону, что предлагаете Вы, или в ту, которую выбрала коллегия министерства и утвердил Центральный комитет. Ведь поймите же, я-то всегда приму решение в их пользу. Так зачем же писать на мое имя эту бумагу? Посудите сами, кому я должен поверить - Вам, уволенному с должности человеку, который вообще уже то ли существует, то ли нет, или министру авиационной промышленности. Неужто Вы не понимаете, что я всегда встану на его сторону, Петр Георгиевич? Так что Вы обременяете ЦК партии совершенно ненужными писаниями, тем более, что они ведь опасны". Вот на этом, собственно, и закончилась их беседа.

То, что отец рассказывал обо всех этих событиях, запомнилось мне на всю жизнь; я передаю это сейчас точно так, как говорил он, со всеми деталями. Эта коммуникативная ситуация будет, наверное, стоять в моей памяти всегда, пока я жив.

Но я ведь ее не понимал, так же как не понимал ее и мой отец, опять же в силу идеализма, т.е. господства идеальных представлений над реальной мыслительностью. То, о чем я вам только что говорил, абсолютно точно проявляется и здесь. И на этом примере вырисовывается вторая сторона отношений между чистым мышлением и деятельностью.

В общем отец пытался отстаивать свою позицию. Он не повинулся в первом своем выступлении, и потом, в последние дни суда, на четвертый и пятый день, разные люди, те, с которыми он был связан раньше по работе, приходили, звонили, и каждый из них говорил только одно, пространнее или короче, что они его не понимают и хотят выяснить, на кого он оставляет семью, детей и чего он хочет добиться, когда картина совершенно ясна. Каждый из них советовал ему сказать - а у него была еще возможность: в конце он должен был ответить, признает он себя виновным или не признает, - что он признает себя виновным. В противном случае, говорили они, ты исчезнешь, тебя больше не будет и твои дети останутся сиротами, а жена вдовой.

Его вызвал секретарь райкома партии (а отец был членом бюро райкома партии), человек, который к нему в общем-то здорово относился, и сказал ему то же самое. Его вызвал к себе Дементьев и сказал: "Петр Георгиевич, не валяй дурака. Чем раньше ты признаешь себя виновным, тем будет лучше". Это было очень мощное давление, т.е. буквально все говорили одно и то же.

И на вопрос, признает ли он себя виновным или нет, отец сказал, что признает.

Ну надо сказать, что все они сдержали свои обещания. Им важно было одно - сломить. Так, как это сейчас описывает Ефремов, описывают в теоретических работах и в воспоминаниях разного рода. Задача состояла не в том, чтобы его физически уничтожить, а в том, чтобы утвердить принцип централизованной иерархии, необходимость беспрекословного выполнения решений вышестоящих организаций. И "суд чести" устраивался именно для того, чтобы продемонстрировать, что ни один человек не может устоять. И когда это происходило и фиксировалось таким образом, то дальнейшее в общем-то уже никого не интересовало, и там многое зависело от чьей-то поддержки, какой-либо

случайности и т.д.

Отец отделался сравнительно легко: его все-таки не исключили из партии, хотя грозились; на бюро райкома, членом которого он был до этого, дали лишь строгий выговор. Сначала лишили его всех побрякушек - орденов, медалей, государственной премии и т.д., а потом, при решении этого вопроса где-то на последних инстанциях, и их вернули.

Опять же, по своему упрямству, он эти восемь месяцев искал место работы в авиационной промышленности, где он знал все заводы, знал всех людей; он считал себя куратором этой промышленности и винтиком ее. Пока ему опять же не объяснили где-то, что есть приказ Хруничева не брать его никуда, кроме как на ставку 900 рублей. Это было очень мало, (ставка инженера его уровня была 2500 рублей), кормить семью на эти деньги он не мог, поэтому отец в какой-то момент, после восьми месяцев шатаний, махнул рукой и пошел на строительство университета на Ленинских горах, где его восстановили, в очень маленьких, правда, чинах...

Университет строился системой МВД, и он пошел к своему знакомому замминистра внутренних дел, который его в три минуты устроил. Так он и работал на этом строительстве, потом еще где-то в этом же Управлении...

Но, фактически, он был всем этим сломлен. Сломлен, поскольку вся жизнь и работа в системе превратили его в винтик государственной машины, и свое личностное существование он мыслил только в качестве винтика этой машины. Он настолько стал ее частичкой, элементом, что у него не осталось ничего личностного. И поэтому он в принципе не мог восстановиться: всякая неудача в продвижении по социальной лестнице означала для него конец.

Тут выяснилось, что он всю свою жизнь был совершенно неадаптивным человеком. Например, за строительство комплекса куйбышевских авиазаводов ему дали сталинскую премию и предложили степень кандидата наук, а ему показалось, что степень кандидата это мало, и он попросил степень доктора. Ему ответили, что этого сделать нельзя. Тогда он посчитал, что быть кандидатом неразумно. И вот теперь, в 1948-м году он рвал на себе волосы, потому что, имея он степень кандидата технических наук, он пошел бы преподавать в авиационный институт и получал бы свои 3000 рублей - столько платили кандидату наук, а без этой степени, он при всех своих регалиях и прошлой славе мог работать только ассистентом и получать 1250 рублей, что было явно мало, да и несолидно.

Вот такого рода странные обстоятельства, свидетельствующие о непонимании ситуации, и составляли бытовую часть моего осмысления мира и жизни в те годы. К тому же все время проводились параллели с другими людьми, которые были в этом смысле куда умнее. Скажем, директор (вначале он назывался начальником) Центрального авиамоторного института Поляковский, который жил рядом с нами и начинал вроде бы точно так же, как отец, - он стал сначала кандидатом, потом доктором технических наук, и когда у него возникли неприятности, что было в общем закономерным явлением в жизни всех этих людей, он пошел профессором в МАИ, где спокойно работал, жил и кончил свои дни.

Но отец-то, пока работал, этого не понимал, и вот теперь он все время обсуждал эту проблему: что обеспечивает человеку устойчивость? Она стала одной из актуальных в те годы в жизни нашей семьи и составляла то самое социальное содержание.

Я извлек из истории отца два принципа, которые и проверял дальше на своей жизни.

Первый принцип: нельзя быть частичным производителем, надо искать такую область деятельности, где возможно быть целостным и все, что необходимо для работы, для творчества, для деятельного существования, всегда может быть унесено с собой. Короче говоря, я понял, что существование человека как действующей личности не должно быть связано с местом, с должностью, которую этот человек занимает. Чтобы быть личностью, надо быть свободным. Это я понял очень четко... И чем дальше двигалась жизнь, тем больше я в этой идее укреплялся.

И второе, что я понял тогда: вступая в борьбу, надо всегда предельно четко и до конца рассчитывать все возможные альтернативы и четко определять те границы, до которых ты способен или хочешь идти. Я понял, что всякого рода непоследовательность сохраняет человеку жизнь, но лишает его самодостаточности и разрушает его личность.

Наконец, в третьих, - наверное, надо все-таки говорить о трех принципах, а не о двух, - я тогда очень хорошо прочувствовал и продумал ситуацию разговора отца с Кузнецовым. Я понял: что бы и когда бы со мной ни происходило, я никогда не буду обращаться за помощью к людям вышестоящим - за исключением тех случаев, когда их решение будет зависеть от политического расклада, т.е. за исключением тех случаев, когда я буду представлять определенную действующую группу, определенную социальную или политическую силу. Никогда не надо обращаться ради собственного спасения или утверждения какой-то истины, ибо эта истина не существует для людей, определенного социального круга.

Форма разговора Кузнецова с отцом оказалась очень впечатляющей для меня и предельно убедительной. Я настолько понял его логику, мотивы его речи, что это стало как бы моим личным опытом... Я понял, что здесь возможны только личные отношения и обращение к личности, но никогда не к должностному лицу.

Но опять-таки - что все это значит? Ведь когда я говорю "понял" - это слово пока что. Вопрос в том, насколько это "понял" может быть реализовано. А углубление понимания теснейшим образом связано с попытками реализации и с опытом такой реализации. Мне предстояло получить такой опыт уже в самое ближайшее время.

Учеба на третьем курсе связана с тремя существенными обстоятельствами.

Первое - я не мог жить вне общественной работы, а вести, как прежде, общественную работу на факультете мне не разрешали. И вот однажды я был вызван в спортклуб МГУ. Был там такой однорукий, Вася Хачатуров, участник войны, с экономического факультета, он играл в волейбол со своей одной рукой за экономфак, был председателем спортивного бюро своего факультета, а я ходил на лыжах, и вообще крутился в спортзале - играл в волейбол, баскетбол, бегал. Он вызвал меня к себе:

- Не хочешь поработать в спортклубе? Мне предлагают быть председателем, а ты будешь отличнейшим заместителем по оргработе.

- Давай!

Это было событие, которое во многом решило мою дальнейшую судьбу. Трудно такое предположить, но это решение во многом меня спасло.

Другой момент. После второго курса у нас должно было быть распределение, и меня направили на отделение атомной физики. К сожалению, у меня не было никаких дефектов в анкете. Я был такой проверенный, советский, и родители мои были тоже такие проверенные... На нашем курсе из четырехсот пятидесяти человек это, как выяснилось, было случаем достаточно редким. Когда начали проверять, оказалось, что многие студенты что-то скрывают: одни - одно, другие - другое, в общем, "инвалидов" оказалось страшно много. Пока речь шла о простых анкетах, это не проверяли, но когда нас попросили в начале учебного года сдать анкеты на восьми страницах каждая, не считая автобиографии, где нужно было указать бабушек, дедушек и тому подобное, оказалось, что набрать на это отделение достаточно людей, которые могли бы работать в засекреченных учреждениях, практически невозможно.

Я мечтал быть теоретиком и работать в области теоретической физики. В то время мне очень импонировал профессор Власов. Он занимался теоретическим анализом плазмы, и я попробовал наладить контакты с ним.

У нас с ним были довольно сложные отношения. Он, с одной стороны, признавал во мне какую-то рабочую силу, а с другой - я ему казался каким-то малопонятным и чуждым. Он, оказывается, отчим Игоря Семенова, и уже много лет спустя, возвращаясь из Горького, я от Игоря узнал, так сказать, другую сторону моих отношений с профессором Власовым. Игорь мне рассказал о той опасливости, с которой относился ко мне Власов; он точно так же, как и другие, никак не мог понять, чем я, собственно, живу и чем дышу.

Как бы там ни было, у нас с ним налаживались какие-то отношения, но меня направили на отделение атомной физики. Я написал заявление, что я там работать не буду, поскольку собираюсь заниматься философией естествознания и занимаюсь теоретической физикой только для того, чтобы получить необходимые основы для будущих занятий философией. Я ходил к Скобелъцыну, который тогда заведовал приемом на это отделение, беседовал с Блохинцевым, который несколько раз уговаривал меня быть тем же самым теоретическим физиком, только в области ядра. Я попытался ходить на занятия и на общем отделении, и на ядерном, но скоро понял, что совместить то и другое невозможно.

И тогда передо мною встал вопрос: что же я решу и на что я готов идти?

Я себе сказал, что атомным физиком не буду никогда, чего бы мне это ни стоило. Махнул рукой и стал ходить на теоретическую физику, сдавать общий практикум, делать работу по этой программе, хотя числился на отделении атомной физики. И тогда перед руководством встала сложная проблема: что же со мной делать?

Вроде бы это распределение было добровольным: люди писали, куда они хотят пойти. Я не был здесь упрямым. Мне говорили

- Мы не можем принять Вас на теоретическую физику.

- Пожалуйста. Давайте на теплофизику.

- Мы не можем принять Вас на теплофизику, там все занято.

- Давайте на геофизику, где не все занято.

- Нет, мы можем вас направить только на атомную физику.

Но это было уже принудительное распределение, вроде бы юридически незаконное. С другой стороны, выпустить меня - значит выпустить всех остальных нежелающих, а там недобор. В общем, получилась какая-то сложная ситуация. Скобельцын не мог ответить резко, поэтому он в присутствии еще двух человек и декана факультета Соколова сказал мне, что, мол, меня постараются перевести обратно с атомной физики на теоретическую физику. Я его спросил в лоб:

- Когда?

- Ну где-нибудь в апреле.

- Спасибо, - сказал я и продолжал посещать занятия на отделении теорфизики.

Но Скобельцын-то думал иначе, он считал, что если я буду до апреля заниматься на отделении ядерной физики, то переводить меня потом будет уже нельзя, и поэтому он скажет: "Я хотел, но вы же видите разницу в программах".

И так мы с ним, довольные нашим обоюдным соглашением, продолжали вести каждый свою политику, не обращая внимания на то, что ситуация все более запутывается. Меня время от времени вызывали на старостат или в учебную часть, где я говорил, что, поскольку профессор Скобельцын в присутствии декана Соколова обещал меня перевести в апреле на теорфизику, я и выполняю программу по теорфизике, чтобы быть готовым, и продолжал ходить на теорфизику и получать там свои зачеты, экзамены и т.д.

И наконец, я впервые реализовал свою *idée fixe* - стал отличником. До этого у меня происходили какие-то срывы: то я "тройку" получу по матанализу, то по аналитической геометрии. На втором курсе в первом семестре я вообще не получал стипендии, поскольку вообразил, что вместо общего курса электротехники буду сдавать электродинамику, все время учил эту самую электродинамику, и когда пришел сдавать электротехнику, то оказалось, что не знаю, как устроен аккумулятор. Я знаю, как распространяется поле в волноводе и вообще, что такое волноводы, но не знаю, как устроен аккумулятор. Я получил "пару" по общей физике и остался без стипендии.

Но тут я, наконец, реализовал эту свою идею, стал круглым отличником. Получил гигантскую стипендию, поскольку мне платили по атомному отделению, и это оказалось что-то около 780 рублей. Это были для меня гигантские деньги, Коля. Это, наверное, раза в два больше, чем Ваша нынешняя зарплата, поскольку были другие цены. В общем, я был один из самых богатых и счастливых людей в мире. Я работал в правлении спортклуба МГУ, строил спортплощадки, организовывал работу, вообще жил очень здорово и полнокровно.

Тогда же я познакомился с Натальей Мостовенко, которая тоже была заместителем председателя в спортклубе, у нас с ней начался роман. Он потом закончился тем, что мы поженились и родили дочку.

Все это было прекрасно до того момента, когда Скобельцын, не набравший необходимого

количества людей, сказал, что ошибся и не может отпустить меня на теорфизику и что я должен работать на отделении атомной физики. А я сказал, что никогда не буду работать на отделении атомной физики. Вот тогда меня начали исключать из комсомола.

И снова я прошел по всей этой линии. Меня вызвали на факультетское бюро и исключили там. В этот раз группа уже была на моей стороне и пыталась ходатайствовать, чтобы меня оставили и дали мне только выговор. Но это ничему не помогло, меня исключили на факультетском уровне из комсомола и исключили из университета без права поступления в высшие учебные заведения страны.

Вот этим закончилась эта история - или закончилась бы... Я не знаю, как дальше продолжалась бы моя жизнь, если бы я к этому времени уже не понял хорошо, что означает принцип личных связей. Тогда, в 1949-м году, весной этого года, я уже знал, что такое личные отношения. Поэтому случившееся меня даже не очень испугало.

Дело в том, что по роду своих занятий в качестве заместителя председателя спортклуба МГУ, я постоянно встречался с первым проректором МГУ, с фактическим хозяином университета - Григорием Даниловичем Вовченко, или, как его звали тогда в просторечии студенты, ГД, что означало "Гришка-дурак". Я постоянно контактировал с Вовченко, он очень здорово ко мне относился, просто по-человечески. Поэтому я был очень удивлен, когда, придя однажды на физфак, узнал, что уже все решено и есть приказ, подписанный Вовченко, об исключении меня из университета без права поступления в высшие учебные заведения. Я побежал к нему:

- Григорий Данилович, такой приказ...

- Как так? Этого не может быть.

- Да, вот...

- Вот манера - подписывать приказы, не читая их... Может и подвести. Но ничего, ты не волнуйся, это дело поправимое. Мы издаем приказы, мы их и отменяем. Иди ко мне на кафедру. Будешь заниматься химфизикой или физхимией, если захочешь. Ты знаешь математику. Физик-теоретик - это же находка, клад для химии. Представляешь, вот тебе два года остается, чтобы закончить. Ты в это время уже сделаешь кандидатскую, через год мы ее защитим. Еще два года - чтобы докторскую. В двадцать восемь лет ты - членкор.

Я сказал:

- Нет.

- А куда же ты хочешь?

- На философский факультет.

Он посмотрел на меня, как на самого последнего дурака. Потом сказал:

- Иди, закрой дверь.

Я проверил, дверь была закрыта.

- Садись сюда ближе. Ты знаешь, что такое философский факультет? Это же помойная яма. Ты там задохнешься.

- Хочу на философский факультет

Он снова повторил свое предложение и сказал:

- Я же тебе предлагаю зеленую улицу, ни у кого не будет такой дороги. Нам вот так нужны знающие физики-теоретики, которые бы занялись химическими процессами. Да тебе цены не будет, ты пойми это. Ты будешь у меня на кафедре, работать при мне, у тебя будет полная свобода. Если б я кому-то это сказал, так он бы на коленях здесь ползал, благодарил бы. А ты говоришь "нет" и собираешься идти в это страшное заведение, где тебя... Ты же там и помыслить не сможешь... Первое, что ты скажешь, навлечет на тебя беду... И я не смогу тебя спасти.

- Я хочу на философский факультет.

Тогда он разозлился и сказал:

- Помни, вот придешь, будешь на коленях ползать, просить спасти тебя - я ничего не сделаю.

- Хочу на философский факультет.

- Готовь приказ, но считай, что больше я тебя не знаю.

И таким образом, в отмену того приказа об отчислении без права поступления в высшие учебные заведения страны появился другой приказ под тем же номером о переводе меня на второй курс философского факультета МГУ с досдачей разницы в учебных предметах за первый курс до первого октября.

Получив этот приказ, я побежал на философский факультет и встретился впервые лицом к лицу с только что назначенным замдекана философского факультета Анатолием Даниловичем Косичевым. Он просмотрел мое дело и сказал:

- Мы на философский факультет исключенных из комсомола или имеющих выговор не принимаем.

Я его попросил написать это на приказе проректора, который я ему принес. Он на секундочку задумался, а потом сказал:

- Не буду.

- Ну а если не будете, то о чем мы разговариваем? Я же просто принес приказ. Это мог сделать курьер. Вы подшейте его к делу, а потом можно и не выполнять.

Он задумался и сказал:

- Да-а-а.

Потом поглядел на меня пристально и сказал:

- А как Вам это удалось?

- Да вот так вот, удалось.

- А-а-а. Ну, ладно. Если у Вас будут какие трудности, заходите, я всегда помогу.

Я ушел.

Григорий Данилович Вовченко забыл только написать одну вещь: "со стипендией". Так у меня возникла очень сложная проблема. Мне-то позарез нужна была стипендия, поскольку я уже был женат и знал, что у меня будет ребенок.

Я был вынужден долго и нудно ходить по университетским инстанциям, добиваясь этой стипендии. Говорили мне так:

- Поскольку вы уже учились и на первом, и на втором, и на третьем курсе, то вы сможете получать стипендию, только когда перейдете на четвертый курс. Вот тогда вам будет платить стипендию.

Но так как мне это очень не нравилось, я отвечал:

- Всякий студент, если он зачислен, имеет право на стипендию. Таков закон.

- Так почему же Вовченко этого не написал - что со стипендией?

- Ну не написал. И что?

И вот в этих блужданиях я попал к главному юристу университета Тумаркину, который сначала сказал мне, что невозможно мне получить стипендию, а потом предложил все-таки написать заявление. И когда он услышал мою фамилию (а он был слепой), он аж подскочил на стуле и начал пытаться меня, кто мой отец. Выяснилось, что он мальчишкой выносил газеты из подпольной типографии, которая находилась в микробиологической лаборатории моего дядьки в Воронеже. Немного подумав, он сказал: "Вообще-то говоря, стипендия тебе не полагается. Но я ее сделаю, а для этого надо поступить очень просто: надо собрать резолюции у тех, кто за стипендию, а у тех, кто против, резолюций не брать". И я обошел всех, кто был "за" - их я уже знал в этом хождении. А он заготовил новую бумагу, где написал такое решение, что меня, мол, не имели права зачислять на второй курс, но поскольку я уже зачислен и решение принято, то я имею право на получение стипендии. Так я ее и получил.

Ну а дальше была очень любопытная история с прохождением разных комсомольских инстанций. Дело в том, что я был исключен, но мне вовсе не хотелось выбывать или быть исключенным из комсомола. Тем более, что ситуация становилась все сложнее и сложнее с каждым годом, даже реально с каждым месяцем. Поэтому передо мной встала проблема, как остаться.

Но решение Вовченко кардинальным образом меняло всю ситуацию: я был просто переведен на философский факультет, и поэтому каждая следующая инстанция меняла свое решение. И когда я проходил райком, то, по-моему, я отделался выговором с занесением в личное дело - и все.

Вот так я попал на философский факультет МГУ. Был сентябрь 1949 года.



8 января 1981 г.

Итак, в сентябре 1949 года я наконец, после целого ряда преодоленных мною трудностей, оказался на философском факультете МГУ - уже несколько потрепанный жизненными ситуациями, но зато получивший известный опыт. Как потом выяснилось, этот опыт был очень скудным и плохо мной освоенным, во всяком случае он, может быть, и годился для физического факультета, но никак не для философского.

Оказался я на философском факультете, с одной стороны, с комсомольским выговором, который надо было снимать, а с другой - в статусе заместителя председателя спортклуба МГУ, т.е. очень большого начальника, влиявшего на весьма важную сторону общественной жизни университета.

Как раз в это время на философском факультете, на том втором курсе, куда я попал по приказу, подписанному Вовченко, происходило формирование особой группы студентов с ориентацией на философские проблемы естествознания. В связи с этим партийное руководство курса производило фильтрацию всех студентов и делило их на две неравные части - на тех, кто будет заниматься историческим материализмом, и тех, кто будет заниматься диалектическим материализмом. И вполне естественно, желающих заниматься диалектическим материализмом было мало, явно меньше, чем требовалось.

Надо сказать, что в принципе-то верхушка философского факультета была намного сильнее верхушки физического факультета. Но это я понял уже много лет спустя, постепенно, так сказать, снимая внешние оболочки и проникая в сущность человеческой души и сознания, или, скажем, пытаюсь прорваться через все те личины, которые каждый, кто был на философском факультете, именно каждый, даже самый "плоскоидейный", обязательно надевал на себя.

Это я все понял потом, а вот поначалу картина для меня предстала таким образом: все те, кто поступил на философский факультет, бежали от математики, физики и других естественных наук, чтобы заниматься политикой, риторикой. И вот тут они оказывались в ситуации, когда их опять "пихали" на эти самые проблемы естествознания. Ну и, конечно, все они, каждый как мог, сопротивлялись и увивали, примерно так же, как увивают студенты от плохого распределения.

А внешне дело выглядело так (это была моя первая встреча с философским факультетом): всех философов собрали в круглом зале - "кафе"... Вы, наверное, этого даже не знаете, Коля, да? В старом здании университета, перед которым стоят памятники Герцену и Огареву, находились: на первом этаже - юристы, на втором - философы, а на третьем и четвертом этажах - филологи, самый большой гуманитарный факультет. Туда вели старорежимные, из стальных фигурных плит лестницы, где разворачивалась основная студенческая жизнь. Потом вы входите в длинный коридор, который идет как бы наискосок, а сразу слева так называемый круглый зал - действительно овальная, почти круглая аудитория. На каждом этаже эти залы использовались тогда как основные лекционные аудитории. Вообще жизнь была невероятно плотной. То, как сейчас учатся студенты психфака или философского факультета, не сопоставимо с тем, что было тогда. Действительно весь день был занят целиком от девяти утра до одиннадцати вечера.

Ну вот, всех собрали в этом "кафе", и секретарь партийной организации курса распределял студентов самолично. Примерно так: тех, которые получше, - на истмат, а тех, кто в чем-то провинился, - их на диамат, на философские проблемы естествознания.

- А диамат и философские проблемы естествознания - это одно и то же?

Ну, практически, да. Но тут было усиление. Они не просто диаматом должны были заниматься, а еще и с ориентацией на естествознание. Делили на два направления: две группы были "истматовские" и одна группа - в двадцать пять человек - "философских проблем естествознания".

Со мной же опять произошла смешная вещь, которая определила мое положение на философском факультете на все время учебы. Я был парень активный, а кроме того еще чувствовал за собой мощь общественной организации, и вообще, в масштабах университета был "большим начальником", чего эти "местные" еще не знали. Но я такого и представить себе не мог. Я сейчас все это гротескно рассказываю, но это соответствует такому, непосредственному что ли, восприятию событий.

Я решил не ждать, поскольку времени у меня было мало, а сразу определиться в эти никому не нужные, не желанные "философские проблемы естествознания", чтобы уйти поскорей с этого собрания. Я поднял руку, и вдруг этот самый партийный секретарь из фронтовиков (а вы должны помнить: все то, что я рассказывал о послефронтовых поколениях и молодых, верно и для философского факультета - был 1949 год) начал громко на меня кричать: "А Вы вообще человек новый! Поэтому, во-первых, мы будем Вас в последнюю очередь определять, а во-вторых, Вы кажется физик, и поэтому стыд и позор бежать от философских проблем естествознания!"

Вот тут я впервые и понял, что мое мировоззрение, мирозерцание, вообще представление обо всем удивительно неадекватно способу жизни этих людей. Ведь хотя вроде бы и происходило распределение желающих по двум группам, но ему даже в голову не приходило, что могут быть такие, кто действительно хочет попасть в эту группу философских проблем естествознания. И поэтому мою поднятую руку он воспринял как некий ход новенького, который хочет пролезть поперек всех или стремится быть впереди остальных, т.е. просто как попытку увильнуть от этих философских проблем естествознания. Может быть, его на это наталкивало еще и то, что я ушел, или перешел, с физфака.

Забегая вперед, скажу, что мне с группой очень "свезло". В итоге у нас оказалась самая сильная группа, поскольку туда попали, с одной стороны, все те, кто на самом деле хотел уйти от истмата (человек шесть-семь), а с другой - туда попали и все аутсайдеры. Именно так я познакомился и довольно близко сошелся с Борей Пышковым, с Максимом Хваном, с Кутасовой, Талантовой и вообще с целым рядом очень интересных людей.

Дальше события разворачивались в общем-то стандартно: я должен был познакомиться с группой, группа должна была познакомиться со мной. Первое знакомство было малоудачным. Диамат проходили на первом курсе, и, следовательно, все его уже "сдали", а на втором курсе проходили истмат. И преподаватель по истмату неожиданно вызвал меня по какой-то теме, а я, по привычке, как было принято на физфаке, ответил, что не готовился к докладу и прошу перенести выступление. Но оказалось, что я тем самым нарушил правила, поскольку на философском факультете в то время не делали доклады, а вызывали, как в школе, и поэтому я, сам того не подозревая, заработал вроде бы

двойку, что в глазах группы было большим прегрешением. Первое впечатление группы обо мне было не в мою пользу.

Потом мне как-то удалось поправить отношение ко мне, прежде всего за счет, так сказать, умелого устного изложения работ Фридриха Энгельса. Оказалось, что я довольно здорово могу пересказывать длинные отрывки текста очень близко к подлиннику, чем заслужил уважение преподавателя, да и всей группы. И поэтому примерно уже со второй половины года в каждой тяжелой ситуации, когда группа не была готова, меня стали "выпихивать", чтобы я что-нибудь рассказал. Но это сугубо внешняя сторона дела.

К этому времени я уже был женат, и у меня, когда я был на третьем курсе, родилась дочка. Мне надо было зарабатывать деньги. Поскольку, как я уже говорил, я был заместителем председателя спортклуба МГУ, мне это давало некоторую свободу. И через некоторое время я выторговал себе право свободного посещения занятий. Потом, на следующий год, я стал председателем спорткомитета факультета, и это как-то определило мою общественную устойчивость.

Я довольно бодро отвечал на семинарских занятиях, начал получать пятерки на сессиях, что оказалось очень нетрудно. И вообще мог бы очень легко пройти все эти годы совершенно преуспевающим и удачливым студентом. Для многих студентов философского факультета это было, так сказать, пределом мечтаний. И позже мне не раз и высказывали эту мысль: вообще не понятно, что я делаю, - так все здорово вроде бы получается, и при этом вкалываю не очень-то, и положение такое крепкое, устойчивое - чего же еще?

Да, все могло быть иначе, если бы опять же не мое неумение сочленять идеальную действительность мышления с реальными взаимоотношениями и деятельностью. Поэтому очень скоро у меня стали накапливаться идеологические неприятности, и в итоге к концу четвертого курса мое существование было уже на пределе (я потом, чуть дальше, расскажу, как это дважды чуть не закончилось трагически) - причем на пределе в двух планах. С одной стороны, я начал совершенно всерьез подумывать о самоубийстве, причем без, так сказать, понимания этого как действия по отношению к себе, а под грузом ощущения, что никакого выхода нет, что вообще все совершенно бесперспективно... А с другой стороны, сложилась такая ситуация, когда ведущие профессора факультета решили от меня избавиться - покончить со мной.

Вам все эти слова могут показаться странными - и в свете того, что я вам рассказывал о предшествующих этапах моей жизни, и особенно в плане моей последующей жизни, о которой Вы знаете. Но это действительно было так, потому что именно в эти годы учебы и жизни на философском факультете, с 1949-го и до осени 1952-го, я совершенно отчетливо, как бы воочию - уже не только формальным знанием, но и эмоционально, по ощущениям, по состоянию души - осознал свою отчужденность, полную, абсолютную противоположность всему тому, что происходило на философском факультете, неприятие мною всего духа и способа жизни этих людей, и осмыслил это не как свое отношение к этим конкретным людям, собравшимся здесь, в этих стенах, а как свое отношение вообще ко всему, что происходило вокруг.

И до поступления в университет на физический факультет я в общем-то знал и представлял себе все, что происходило вокруг, а во время учебы на физическом факультете расширил, углубил свое знание и, кроме того, имел еще возможность сталкиваться с людьми, вступать с ними в какие-то отношения и

получать удары, но это все воспринималось мной как результат каких-то неправильных, неудачных моих шагов, неправильного поведения, слишком большой открытости, неумения войти в контакт с группой и т.п. А вот тут, на философском факультете, за эти годы я понял, почувствовал уже в непосредственных проявлениях самой жизни то, что я раньше знал абстрактно, а именно, полную для себя невозможность существовать так, как жили и существовали люди, окружавшие меня, вступать с ними в какие-то разумные человеческие отношения. Я понял это как свою противоположность вообще всему, что происходило вокруг.

Всем хорошо известно знаменитое выражение Гегеля: "Все действительное разумно; все разумное действительно". Так вот, на философском факультете, во время учебы на втором, третьем, четвертом курсах, я понял, что этот принцип ошибочный, или во всяком случае не распространяется на философский факультет и нашу страну, поскольку в том, что происходило вокруг меня, не было никакой разумности, наоборот, все то, что было, было абсолютно неразумным и противоречащим всякому разуму.

Это я сейчас, вообще-то, понимаю, что "действительность", по Гегелю, это совсем не "реальность". Но тогда эти различия, конечно, были не под силу мне, да и никто не мог меня этому научить в принципе. Но вот реальность, в которой я вынужден был жить и с которой я каждодневно сталкивался, была абсолютно неразумна и антиразумна. В чем это проявлялось?

Как человек весьма любопытный и любопытствующий, я начал посещать, естественно, те в общем-то немногочисленные семинары, которые были на факультете, студенческие и научные. Я постарался познакомиться со всеми ведущими профессорами, поглядеть на них, послушать их. Я попробовал сам сделать какие-то доклады - не учебные, с пересказом, а мало-мальски трактующие, осмысляющие как-то положения классиков. Я с жадностью еще раз набросился на работы Маркса, Энгельса, Лафарга, Меринга, читал всю партийную литературу, прорабатывал философию домарксистского периода, которая непосредственно вела к формированию марксистского мировоззрения. В общем, старался, как мог, осваивать все это с какой-то предельной честностью и скрупулезностью. Если нам на занятиях по истории философии преподавали, скажем, какие-то части учения Гегеля, то я стремился прочитать самого Гегеля и старался вникнуть в содержание. И для меня существовал постоянно этот фон - очень глубокой классической мысли, которая меня и восхищала, и захватывала. В отличие от того, что было на физическом факультете, я увидел вот в этом, в этом способе жизни, действительно подлинное для себя содержание, соответствующее моим способам освоения мира и вообще моей подготовке. Я понял, наконец, что меня не случайно все время тянуло к философии, что философия - это в каком-то смысле моя стихия.

Таким образом, в плане моих собственных занятий я вроде бы все больше и больше обретал свое подлинное, адекватное мне содержание. Но одновременно был вот этот страшный - хотя сейчас я произношу это без всяких эмоций, поскольку мне это уже совсем не страшно, - страшный мир философского факультета, который тогда, в 1950-1951, действительно вселил в меня ужас. Ужас в прямом и непосредственном смысле этого слова. Это, наверное, те самые ощущения, которые были у землян - в книге Ивана Ефремова "Час быка", - когда они столкнулись с inferнальностью тормансиан, столкнулись и поняли, что они ничего не могут сделать. Здесь не действует ни разумная логика, ни попытки убедить, здесь все живет по каким-то совершенно другим, мало понятным и не укладывающимся в сознании законам.

Столкновение с секретарем партийной организации - если это можно назвать столкновением, но оно всегда это воспринимал таким образом, как выяснилось потом, и у нас с ним до конца учебы продолжались очень сложные и напряженные отношения - это первое столкновение было в общем-то ерундой, но в то же время оно было очень показательным.

Одним из тех, кто привлек мое внимание, был заведующий кафедрой диалектического материализма Зиновий Яковлевич Белецкий - горбун, подлинный Квазимодо, как будто только спустившийся с башен Нотрдама. Горбун, который, когда он стоял на кафедре, почти не был виден за ней, и он должен был, чтоб мы его видели, так сказать, подтягиваться, но все равно он едва выступал из-за кафедры. Это был очень резкий мужик, который почти ничего не писал - в этом состояла его жизненная стратегия, - он только читал лекции и делал доклады, причем запрещал как-либо фиксировать, подробно записывать их. У него был лозунг: "Понимать надо живую душу марксизма".

Но делалось это все просто для спасения. Это был человек, безусловно, очень сильный. У него было довольно много учеников, и до сих пор они существуют как такая компактная группа.

Для того чтобы было понятно, что это был за человек, я приведу такой в общем-то скабресный пример. Один из однокурсников и приятелей Александра Зиновьева, бывший летчик, как и он, пришел однажды на заседание Ученого совета со своей женой. Это были уже взрослые люди, так сказать, выдавшие виды и поэтому резкие и откровенные до циничности. Жена эта была очень красивой женщиной, привлекавшей внимание, и вот, просидев примерно полчаса, оглядев всех и послушав выступление Белецкого, она сказала: "Всего один человек здесь есть, которому бы я отдалась, - это ваш горбун, он действительно человек".

Так вот, этот Зиновий Яковлевич Белецкий вел семинары. Он вообще на ранних курсах - на первом, втором - просматривал практически всех студентов и самых сильных из них "прибирал" на свою кафедру. Они попадали в число его учеников, и дальше он как-то следил за их судьбой. Кстати, у него там на кафедре были самые сильные преподаватели: Ковальзон, Келле - обаятельные и привлекавшие к себе тогда внимание студентов; его аспирантами были Гринович и целый ряд других, т.е. он действительно отбирал самых лучших.

И вот я попал на один из таких семинаров - это было в самом начале 1950 года, на втором курсе - и попробовал сделать там доклад для студенческой аудитории об относительности и абсолютности истины в марксистской концепции. Вообще, эта идея относительности истины меня очень привлекала. Я хорошо знал соответствующие высказывания Энгельса, Маркса. Идея действительно невероятно симпатична, и я думаю, что эта, очень простая на самом деле, мысль - она принципиальна.

Я знал гротескное утверждение Ф.Энгельса, что вся история науки есть лишь цепь заблуждений и ошибок. Я в то время читал "Принципы механики" Эрнста Маха, который очень близок к марксизму по историческому подходу и идее относительности истины, как в общем-то все критические реалисты в исходе своем... Поэтому примеров из истории науки у меня было "навалом", и я сделал очень простенький такой доклад, демонстрирующий эту мысль.

И если бы я просто говорил все эти формальные вещи, то, наверное, все восприняли бы это как должное. Но, по-видимому, беда моя состоит в том, что, стремясь выскочить из шаблона, я, наверное,

всегда стремлюсь привнести собственное отношение. И этот доклад был "с отношением". Когда я говорил, что всякая истина относительна, то за этим очень много чего стояло в плане моего отношения. И больше того - я теперь так понимаю то, что происходило, - утверждая, что все истины относительны, я тем самым подрывал устои самого марксизма как учения. И, возможно, на самом деле у меня не было никакой подоплеки, поскольку мне это было не нужно. Раз все знания относительны и лишь цепь заблуждений - значит, само собой очевидно, что и марксизм тоже есть одно из таких исторических заблуждений и не более. В этом смысле я был формалистом, я не мог позволить себе, например, считать, что все есть цепь заблуждений, кроме марксистской философии, что для нее почему-то мы делаем исключение. Все есть цепь заблуждений - так учил Энгельс, и так учил Маркс - значит, и их учение тоже. Это разумелось само собой, поэтому даже не было необходимости подчеркивать это обстоятельство. Но поскольку я был убежден в том, что говорил, то, по-видимому, это воспринималось как своего рода ересь, и поэтому мой однокурсник, известный Вам Игорь Блауберг, поднял руку и спросил:

- Как же так? Если все есть лишь цепь заблуждений и каждое наше утверждение относительно, то ведь получается... я даже боюсь сказать, что получается. Я лучше спрошу: а как же быть с "Капиталом" Маркса? Разве это не абсолютная истина?

И все присутствующие, включая Белецкого, затихли.

Попробуйте сейчас поставить себя на мое место. Ну да, это начало 1950 года, и я, хоть и дурак-дураком, но прекрасно понимаю, что если я говорю здесь, что "Капитал" или ленинская теория революции формально подпадают под общие принципы, что все это с точки зрения другой эпохи лишь цепь заблуждений, я тем самым автоматически пишу себе обвинительный приговор.

- Самому себе?

Да. Но ведь, с другой стороны, я же не могу потерять лица! Ведь я только что утверждал это как общий принцип марксизма и говорил, что здесь Маркс и Энгельс правы. Но тогда из этого по любым формальным правилам логики... А диалектической логикой, т.е. логикой софизмов и хитросплетений, что тогда было одно и то же, я еще не овладел.

Я вас подвожу к подлинной проблематике, которой жили люди философского факультета. Мне же надо было объяснить эти свои слова, а мне стало страшно, и я теперь понял Вовченко и, впервые столкнувшись с этим, увидел, о чем он мне тогда говорил. Я ведь слушал, но, конечно, не мог понять, о чем он говорит - я этого, так сказать, не ощущал. Но здесь я это начал ощущать.

Так вот, вы сформулировали это - относительность истины - как принцип марксизма, но вы не можете применять его к частным случаям, поскольку сами марксистские догмы оказываются вне этих самых марксистских догм, вне их действия. И это, кстати, совпадает со всей подлинно теологической проблематикой. Вот здесь она воспроизводится.

Вот, собственно говоря, в какой ситуации я оказался, будучи новичком на философском факультете.

- Почему Вы сказали, что здесь воспроизводится теологическая проблематика?

А действительно, здесь воспроизводится теологическая проблематика, потому что положения

теологии таковы, что они применимы к одному миру и не применимы к другому миру. Но в теологии это фиксируется очень четко: есть мир божественный, мир духа, и есть мир человеческий. И, скажем, там задаются системы определений, ну например: человеческое - конечно, Бог - бесконечен, человеческое - временно, Бог - безвременен, абсолютен. И различие относительного и абсолютного там решается за счет разделения двух миров.

А здесь как? Здесь ведь так и должно было формулироваться: все принципы марксизма истинны во всех областях, кроме самого марксизма, или применимы ко всем областям, кроме области марксистской философии. Потом-то я понял, что на этом - как обойти вот это противоречие - и построена вся философия философского факультета МГУ.

Конечно, тогда, после вопросов Блауберга, это все промелькнуло у меня в голове, и я моментально все понял. Для меня это вылилось в проблему: что мне дороже? Я решил ее почти без колебаний - в уме-то я проиграл все варианты, - и решил в пользу принципа сохранения лица. И поэтому я сказал:

- Конечно. - Дальше нужно было только найти форму. - Конечно, разве ты не знаешь положений Маркса и Энгельса, что всякое знание такого рода является относительным?

Но Блауберг не успокаивался, он сказал:

- Но как это понимать? Ведь это можно понимать двояко. Ну, например, относительно в том смысле, что мы будем уточнять, углублять, детализировать те или иные положения "Капитала" и ленинской теории революции, постигать все новые и новые детали - и в этом смысле наше нынешнее знание относительно. Или же ты хочешь сказать, что наступит такой момент, когда мы скажем, что основные положения "Капитала" Маркса были ложными, например, в том же духе, как ложными оказались основная идея флогистона и теплорода?

И опять наступила тишина, причем Белецкий уже перестал улыбаться, хотя сначала его такой поворот событий позабавил. Острые ощущения... И все сидевшие воспринимали это как такую острую игру, они как бы шли по проволоке, но шли странно: они мной шагали по проволоке.

Я ответил:

- Конечно, в этом последнем смысле наступит такой момент - я не знаю, скоро он наступит или не скоро, - но обязательно наступит такой момент, когда мы скажем, что основные положения "Капитала" были не верны, - таковы основные философские принципы марксистской концепции. И нет ничего страшного, что она непрерывно сама себя отрицает, в этом и состоит суть закона отрицания и отрицания отрицания. Это так здорово сказано у Гегеля и проработано Марксом...

Но тут Белецкий прервал меня и сказал:

- Мы отдаем дань Вашему мужеству. Но я вынужден прекратить Ваш доклад как идеологически неправильный.

Я не знаю, что было бы хуже: согласиться с этим или сделать то, что я сделал. А я, пугаясь своих слов, сказал:

- Кто же здесь может решить - идеологически правильный или идеологически неправильный? С

моей точки зрения, Вы здесь сидите не для этого. У нас семинар, где высказываются дискуссионные мнения, и решать этот вопрос могут только создатели марксизма либо Центральный Комитет нашей партии, Политбюро. А Вы вообще не имеете право толковать - это не Ваша функция. Вы должны нас учить высказывать мнение, опровергать и доказывать. Поэтому я Вас очень прошу, Зиновий Яковлевич, чтобы Вы сейчас здесь объяснили, почему же это неправильно, и таким образом либо показали мне, что я неправильно понимаю эти положения Маркса, либо опровергли самого Маркса и Энгельса в их положениях об относительности всякого теоретического знания.

И вот тут он растерялся немножко от моей наглости, поскольку такой ситуации не ожидал:

- Это же в общем-то известно...

- А если известно, то зачем мне задают вопросы, зачем меня просят делать доклад? И известно - кому? Мне, как видите, это неизвестно. Поэтому я хочу, чтобы Вы меня убедили, как того требуют постановления нашей партии. А если Вы меня не можете убедить, то, значит, Вы не на месте и, наверное, не можете быть преподавателем Московского университета.

Это была уже чистая демагогия - я не видел другого способа спастись.

И вот, по сути дела, с этого злосчастного - или счастливого - семинара начинается моя борьба с философским факультетом, непрерывная борьба во имя спасения собственной жизни, своего лица. Ведь, сделав такую заявку, я на самом деле предрешил всю свою дальнейшую судьбу, способ жизни на философском факультете и во многом после его окончания. И это, кстати, комментарий к тому, почему всякое начальство боится какого-либо действия. Вообще, преподаватели философского факультета старались не вести семинаров, потому что не знали, чем закончится семинар. Каждый доклад, каждое выступление было, фактически, жонглированием на проволоке. Поэтому преподаватели пуще огня боялись каких-либо докладов, обсуждений, в том числе студенческих. Это был большой риск со стороны Белецкого - вести такой семинар. Надо сказать, что это занятие было последним на нашем курсе, а до этого было всего три или четыре.

Конечно, если бы я не вкладывал собственного отношения или вообще не делал бы никакого доклада, все было бы в порядке, но зато на этом семинаре одно я понял точно - придется защищать себя. И я начал продумывать систему своего поведения.

Эта история ничего мне не стоила, ничем мне не навредила, можно сказать, прошла для меня даром. Я пошел к тогдашнему председателю профкома, в последующем вице-президенту Академии педнаук, Зубову, физику, и рассказал ему эту историю (а я был с ним связан по работе в спортклубе, он непосредственно нас курировал, помогал). Мы с ним вместе немножко посмеялись над произошедшим, и он сказал: "Знаешь, не вступай ты с ним больше в такого рода дискуссии. Я позвоню Прокофьеву (это - нынешний министр просвещения, он тогда был секретарем парткома университета) и попрошу, чтобы он позвонил на факультет и кому-то как-то намекнул, чтобы у тебя не было никаких неприятностей. Но воздержись на будущее!" Я думаю, что он так и сделал, на факультет позвонили, и это, собственно говоря, защищало меня и дальше. Я, таким образом, с самого начала понял, что мы живем в обществе личных связей.

Белецкий же не знал, что делать, потому что доказать он ничего не мог. Он мне начал было



объяснять, что есть проблема относительности в смысле уточнения, как говорил Блауберг, и вот это применимо к марксизму, а есть - в смысле смены, так это уже не применимо к марксизму, что поэтому мы рассматриваем весь предшествующий период как подготовку к приходу марксизма - марксизм есть венец творения. Ну я тут же пошутил насчет венца творения, рассказал о критическом характере марксизма и вообще шпарил цитатами непрерывно.

Но на самом деле я понимал, что ситуация гораздо сложнее, она заставляла задумываться. И когда я потом проанализировал эту ситуацию для себя, я понял, что победой она кончиться не может, что мое положение заведомо проигрышное: что бы я ни сказал, я проигрываю, к какому бы выводу ни пришел, если я следую логике, я проигрываю.

Именно тогда, после семинара, я впервые сформулировал принцип нелогичности и неразумия. Мне пришлось начать думать над разницей знания и идеологии. Но только - что значит думать? Раньше я тоже вроде бы сталкивался с этой проблемой, но вербально. А здесь мне надо было думать, чтобы спастись, чтобы выработать такую систему поведения, которая обеспечивала бы мне просто жизнь. Это были не шутки - за этим стояла непростая реальность: не проходило месяца, чтобы у нас на курсе не взяли одного или двух человек, которые потом исчезали.

Моя следующая (или, может быть, чуть раньше) встреча с общественностью факультета состоялась на комсомольском собрании, когда группу студентов, и в первую очередь некоего Гусакова, исключали из комсомола и из университета за чтение Достоевского.

Это не шутка. Была компания на первом курсе: они собирались в университете - сидели, выпивали, читали и обсуждали Достоевского. Что произошло потом, я не знаю, но то ли одного из них на чем-то поймали и привели в ГБ, то ли он сам пошел, испугавшись, и написал донос, что такие-то студенты читают Достоевского. Пришло соответствующее извещение, и их стали исключать из комсомола.

Я это воспринял буквально как всеобщее безумие. Я опять не выдержал, полез на трибуну и сказал: "Ребята, по-моему, вы все сошли с ума".

- А что - Достоевский был запрещен?

Достоевский не был запрещен, он был просто не в чести... Но Гусакова исключали именно за чтение Достоевского - так было сформулировано обвинительное заключение. В это же время в пединституте исключали за чтение книги Гильберта и Аккермана "Теоретическая логика". Была публикация в "Комсомольской правде" - статья занимала весь "подвал", который назывался "Чертополох". Позже, года через два, я познакомился с этим парнем, он приходил ко мне. Он и был "чертополохом", поскольку читал "Теоретическую логику" Гильберта и Аккермана.

Чуть-чуть раньше преподаватели философского факультета Софья Александровна Яновская и Валентин Фердинандович Асмус чуть не были уволены за пропаганду буржуазной идеологии - за перевод книг "Опыт исследования значения логики" Шарля Серюса, "Методология дедуктивных наук" Тарского и той же "Теоретическая логика" этих самых Гильберта и Аккермана. Воинствующая кафедра в лице Виталия Ивановича Черкесова, Митрофана Николаевича Алексева, Петра Ивановича Никитина требовала от них клятвенных заверений, что они никогда больше не будут не только переводить и пропагандировать эти книги, но и сами читать. Софья Александровна Яновская плакала,

но оба они дали такую клятву.

Я сказал:

- Ребята, вы сошли с ума. Достоевский - великий русский писатель. По-моему, в университет нельзя принимать тех, кто не прочел всего Достоевского.

Наступила тишина, все подрастерялись, кто-то сказал:

- И правда ведь.

Потом выступил тогдашний секретарь партийной организации курса Герман Горячев (сын секретаря новосибирского обкома партии, одного из самых "лонгитюдных" секретарей обкома - он был при Сталине, при Хрущеве, был при Брежнев):

- А может, там еще чего было? Ну, конечно же, просто так, за чтение Достоевского, вряд ли можно исключить из комсомола. Но ведь нам, наверно, не зря об этом написали сюда и порекомендовали их исключить, значит, там еще что-то было, а это только повод, сигнал, чтобы мы действовали.

Я его спрашиваю:

- А может быть, ничего больше не было?

- Вряд ли.

- Ну так давайте запрос сделаем: что там еще было? И уже тогда исключим их за то, что они действительно сделали. А пока, может, не надо?

Комсомольское собрание приняло решение: пока воздержаться и запросить дополнительную информацию. Но Герману Горячеву врезали потом на бюро факультета, Гусакова же сразу отправили на бюро факультета, потом в вузком и там исключили, но уже через собрание курса больше не проводили. Хотя, по-видимому, всех, так сказать, участников обсуждения на заметку взяли.

Позже я на одном из комсомольских собраний встал и спросил:

- Так все-таки за что исключили Гусакова? - и попросил, чтобы дали разъяснения.

Меня вызвали на факультетское бюро и сказали:

- Юр, мы тебя любим, уважаем, ты большой активист, заместитель председателя спортклуба МГУ, с Прокофьевым лично знаком и со всеми остальными. Ну зачем ты так выступаешь на курсовых собраниях? Ты же должен правильную линию вести, а тебя все куда-то заносит. Ведь мы же не просто так исключаем, у нас основания есть, а ты вечно - что да почему, да какие сведения и прочее. Так нельзя, особенно комсомольскому активу. Представляешь, если такое вообще начнется? Ведь черт знает что будет вообще! А если ты добром не поймешь, так мы ведь проучить тебя должны будем. У тебя и предыдущий выговор еще не снят, а ты уже на новый напрашиваешься.

Это еще было мое счастье, что я в общем-то очень мало контактировал с курсом, сравнительно мало. Если б этот контакт был более плотным, то подобных событий было бы много больше. Но поскольку я

все время сидел или в спортклубе МГУ, или в Ленинской библиотеке, то сравнительно редко бывал на лекциях и вообще был как-то вне этой жизни. Потом с октября 1951 года я начал работать преподавателем в школе.

Время мое тогда было вообще расписано буквально по минутам, просто до смешного: например, в какой-то день я давал шесть уроков подряд в школе, потом бежал в столовую Верховного Совета (она называлась по-разному - тогда Шверника, потом Ворошилова, потом еще кого-то...), там уже сидела Наталья Мостовенко, уже заказавшая мне суп, суп был уже в тарелке и накрыт другой тарелкой. Я должен был выскочить из дверей школы после шестого урока, добежать до остановки, это Голутвинский переулочек на Якиманке, доехать до Библиотеки Ленина и успеть к тому моменту, когда очередь, в которую Наталья должна была попасть, начинала есть второе, а у меня суп уже стоял на столе, я должен был его похлебать, съесть второе, выпить компот, и у меня оставалось еще пять минут, чтоб добежать до университета, если были лекции или семинарские занятия, где я должен был быть, или мне нужно было бежать еще куда-то. Вот это "колесо" спасало меня от лишних контактов. Но они, тем не менее, были, и результаты их накапливались.

Следующим таким эпизодом был доклад "О необходимости в истории", который я делал, уже будучи на третьем курсе, у Мельвиля -- это был довольно грамотный преподаватель на кафедре истории марксистско-ленинской философии.

Мы изучали эту проблему, и надо сказать, что мне очень много дала работа по этой теме: я проработал всю домарксистскую литературу, многое по подлинникам, не пропуская разные варианты. И сделал большой доклад на семинарском занятии в группе, показывая, что никакой необходимости в истории нет. И опять-таки раскопал у Маркса и Энгельса соответствующие представления. В частности, я подобрал достаточно сложные факты: в то время я очень интересовался историей Китая и примерно половину своего времени тратил на изучение фаз, этапов его развития. Меня действительно тогда интересовала эта проблема - необходимость в истории, - поскольку надо было ответить себе на вопрос: что, совсем безнадежно или есть какие-то выходы? А существовала проблема, как возможен переход с нижних фаз к более развитым, например, от феодализма к социализму, минуя капиталистический этап. Монголия ведь перешла от феодализма к социализму. Вот и Китай - уже все произошло: победила коммунистическая партия Китая в 1949 году. Надо сказать, в то время не только я внимательно следил за событиями в Китае и думал на этот счет. Юра Левада даже китайский язык учить начал. Ведь мир смотрел тогда на Восток. Возникла проблема взаимоотношений Советского Союза с Китаем. Будет ли это абсолютно непобедимый тандем, как рассчитывал Сталин, когда восьмисотмиллионный Китай сойдется с индустриальной Советской Россией? Если да, вопрос о мировой социалистической революции решен. Или же между ними начнется то, что и происходит сейчас? Это был тогда для меня - и не только для меня, вообще для понимания того, что происходит, - кардинальнейший вопрос.

- А Вы понимали это, прилагая к своей жизни - к своей ситуации, к своей перспективе? Этот вопрос не был отвлеченно философским?

Нет. Больше того, в тот период это был для меня основной вопрос: как мне жить? Что я могу сделать как человек и как личность, не самоуничтожаясь, а решая какие-то социальные, культурные задачи? Это был поиск пути. Причем - очень осознанный, очень четкий. Каков же будет путь?..

Короче говоря, я сделал такой доклад, показывая на большом историческом материале истоки развития идей необходимости в истории, истоки представления об естественноисторическом процессе... Кстати, наверно, тогда впервые для меня возникла проблематика естественного и искусственного, и я ее по-своему решал. Не в понятиях естественного и искусственного, потому что, даже если подобные проблемы и встречались, скажем, в работах, которые я тогда читал или даже детальнейшим образом штудировал, они все равно не ложились на мой уровень понимания и не проступали как логические, категориальные проблемы естественного и искусственного. Мое мышление развертывалось в материале - сугубо в материале. С одной стороны, в материале истории, в материале общественно-экономических формаций, а с другой - на материале опять-таки исторических идей, идей исторической необходимости, причинной обусловленности, детерминированности исторического процесса и т.д.

Я писал в тот период две курсовые работы: одну - о происхождении феодализма в древнем Китае, а другую - о происхождении феодализма в Киевской Руси. Меня очень интересовал сам этот процесс - его анализ на материале этих двух сопоставлений. Ну а работа о необходимости в истории была таким идеологическим, или как бы предельным, представлением всего проработанного материала.

Мельвиль был абсолютно шокирован моим докладом, прежде всего теми последствиями, которые он предвидел. Теперь-то я его понимаю! Он больше всего на свете боялся доноса, какого-нибудь партийного доноса, распространения слухов о том, что такой-то студент высказывал такие-то антимарксистские взгляды, а он, Мельвиль, не смог дать отпор, обосновать марксистско-ленинскую точку зрения, доказать и т.д.

А в то время практически уже никто из преподавателей философского факультета не мог со мной спорить, их техника аргументации и логические возможности были слабы. И поскольку люди всегда такое чувствуют, то наши преподаватели или моментально терялись, или заводились и лезли, что называется, в бутылку. А какие-либо формы внешнего примирения, проблематизации, конечно же, вообще отсутствовали... Такого просто не существовало.

Кстати, меня потрясла одна из встреч - это уже в 1971 или 1972 году - с одним из сотрудников КГБ, когда меня вызвали туда и обсуждали со мной некоторые из магнитофонных записей, которые у меня взяли при обыске. Следователь, который мною занимался, сказал мне:

- Мы прослушали эти Ваши записи. Вы же там проблемы ставите, верно?

- Да.

- А ведь в проблемах, если я правильно понимаю, не может быть никаких утверждений, а поэтому не может быть антисоветских высказываний. Я тут не делаю никаких ошибок?

- Вы абсолютно правы, в проблемах этого не может быть.

Значит, этот старший лейтенант, или капитан, начала 70-х годов - он уже дошел до такой вещи, а вот, скажем, преподаватель философского факультета, кандидат или доктор философских наук, в 1950 году до этого дойти не мог, ибо формы такой не существовало. Должны были высказываться четкие, жесткие истины... Все было четко поделено: это - истинные высказывания, это - не истинные, это - марксистские высказывания, это - антимарксистские, - и все двигалось в этих определениях. Важно

было, чтобы все высказывали только марксистские взгляды, а если кто-то высказывал антимарксистские взгляды, то он подлежал искоренению в той или иной форме, причем незамедлительному.

В данном случае, по определению Мельвиля, я высказывал антимарксистские взгляды и, следовательно, подлежал искоренению. И вот тут я решил применить уже опробованный прием. Я сказал:

- А кто Вам дал такое право и поручил это определять?

Он ответил:

- Ах, Вы мне не доверяете?! Тогда давайте обратимся к третьей стороне. Пишите Ваш доклад - не весь доклад, не весь, ну самые основные положения, страничек двадцать-двадцать пять - и сдавайте... Сколько Вам нужно времени? Две недели? Отлично. Приносите на кафедру, и Теодор Ильич Ойзерман (он был тогда заведующим кафедрой) решит, какие они - марксистские или антимарксистские.

Я написал этот текст и сдал его на кафедру Теодору Ильичу. Он прочитал мои странички, потом вызвал меня. Разговор у нас происходил наедине. От обсуждения вопроса по существу он уклонился и поначалу решил поймать меня на неграмотности. И начал спрашивать:

- Вот тут у Вас упоминается Людвиг Витгенштейн, а скажите, Вы читали Людвиг Витгенштейна?

- Читал.

- Как же? Это не переведено на русский язык.

- Да, я читал на немецком.

- Ах, Вы на немецком читаете? - и он немножко подумал. - Я чувствую, Вы очень мало загружены учебными занятиями, если находите время на занятия посторонние... Я вот слышал, у Вас свободное посещение, может быть, все из-за этого происходит? Может быть, следует поставить вопрос о том, чтобы Вас лишили свободного посещения? Тогда у Вас будет меньше свободного времени и Вы будете меньше читать... А это Вы читали? Вы же французского не знаете?! А, Вы читали по другим источникам? Здесь не указано, что Вы читали это по другим источникам! Вы создаете впечатление, что читали это в подлиннике - а это уже нехорошо, это уже неэтично!

И весь наш разговор происходил в том же духе, а потом он мне сказал:

- Все-таки я нахожу, что Ваш доклад вредный: не могу сказать, что он антимарксистский, но он вредный. И поэтому я поставлю вопрос в деканате, чтобы собрались заведующие кафедрами... Я слышал, что у Вас были инциденты с преподавателями и других кафедр. Вот мы соберемся и решим, можете ли Вы продолжать учебу в университете.

И они действительно хотели собраться - трое заведующих кафедрами: Белецкий, Ойзерман и заведующий кафедрой истмата (не помню, кто это был, - у меня такое ощущение, что как раз Кутасов был тогда заведующим кафедрой), - и еще кого-то пригласить. И назначили мне день, чтобы я пришел

на обсуждение...

Итак, предстоял такой синклит, и я, как пай-мальчик, явился на заседание. Но что-то случилось у Белецкого, и он не пришел. Они подождали минут пятнадцать, отметили, что я пришел, и назначили следующий день. Долго обсуждали, когда лучше собраться - то одному было неудобно, то другому, но в конце концов нашли такой день, когда всем было удобно: это было недели через три. А мне сказали, чтобы я пришел на это заседание и дал объяснение, почему у меня и там такие завиральные идеи, и здесь, почему у меня конфликты и на кафедре истмата, и на кафедре русской философии (я что-то не то, как они слышали, о народниках говорил). И все разошлись.

А жизнь шла своим чередом. Мы постепенно двигались к сессии. Я посидел, посидел, подумал и решил: если все так протекает и собрание переносится, если кто-то не пришел, то, может быть, в следующий раз мне не прийти? И на следующее заседание я не пошел. Потом выяснилось: собрались действительно все, не было только меня. И спас меня преподаватель русской философии - такой рыжий интересный мужик, хромой, прошедший войну, очень симпатичный (сын его, кстати, ходит последние несколько лет на четверговой семинар; он тоже как будто закончил философский факультет). Когда они, рассерженные, решили покончить со мной без моего участия, он сказал, что это неэтично, что, быть может, у меня уважительная причина, может быть, я болею, может быть, у меня воспаление легких и что, вообще, даже самому отъявленному преступнику дают последнее слово перед казнью... Они немножко поспорили, но он твердо высказал свое особое мнение. И назначили новое заседание - еще через три недели.

Я решил, что я могу спокойно на это новое заседание пойти, поскольку двух-трех из них, наверняка, не будет. Так и получилось. Теперь пришел один Теодор Ильич Ойзерман. Он сказал: "Это очень трудно - выбрать подходящий день. Мне надо посоветоваться с товарищами... Думаю, мы недельки через две решим, выберем день и тогда Вас известим".

Я понял, что активничать он особенно не будет и что в следующий раз я могу не являться.

И поэтому в следующий раз, еще через четыре недели (это было уже на самом рубеже зачетной сессии и экзаменационной), когда меня вызвали, я взял в спорткомитете командировку и уехал на это время из Москвы. При этом отправил извещение: попросил, чтобы председатель спортклуба - Вася Хачатуров - позвонил из парткома и сообщил, что отправил меня по сверхважным и сверхсрочным нуждам общества и что поэтому я не могу явиться. И на этом история закончилась.

Ну а потом уже всерьез обсуждался вопрос, не поместить ли меня в психиатрическую больницу, и об этот велись переговоры с комсоргом нашей группы Борисом Пышковым. Он был поставлен перед альтернативой: либо заявление на меня в органы, либо докладная о моей невменяемости. И тогда Борис Пышков, как он потом мне объяснял, выбрал из двух зол меньшее: как представитель общественной организации он написал заявление о необходимости поместить меня в психиатрическую больницу. Этот последний разговор происходил у нас в октябре 1952 года, в тот момент, когда, по сути дела, со мной уже "попрощались".

Оказалось, что я совершенно неправильно объяснил происхождение феодализма в Китае, неправильно толковал в своей курсовой работе происхождение феодализма в Киевской Руси, сделал неправильный доклад о народовольцах... И вдобавок произошло еще одно событие, которое в какой-

то мере определило мою судьбу.

В своем движении по разным кафедрам философского факультета я однажды забрел на кафедру логики, которая тогда меня привлекала меньше всего, поскольку я твердо знал, что формальной логики больше нет и быть не может, а диалектическая еще не создана - есть только логика "Капитала", а Логика еще нет. Я слышал про эти истории с теоретической логикой Гильберта и Аккермана, мне очень нравилась книжка Шарля Серрюса, которую было запрещено пропагандировать, мне очень не нравились лекции наших факультетских логиков, в частности Павла Сергеевича Попова, тем более лекции Алексеева или Черкесова.

Попал я на доклад Митрофана Николаевича Алексеева (потом научного руководителя Александра Зиновьева и Бориса Грушина) о развитии логических форм мышления. При этом он определял формы как то общее, что мы выделяем из всего ряда наблюдающихся явлений мышления в их историческом ряду, а потом ставил вопрос о том, как они могут развиваться и развиваются.

Я схематизировал его доклад, привел к противоречию и задал ему развернутый вопрос: "Скажите, пожалуйста, а как Вы это представляете? Как могут иметь развитие формы, которые Вы выделили по тождеству всех явлений? Как можно вообще осмысленно ставить такой вопрос?"

Он просто не понял моего вопроса. Понял Черкесов, который тотчас же взвился. Понял Ахманов (он тогда еще был на кафедре), представитель старой формальной школы, который сказал: "Вот прекрасный вопрос задал молодой человек". Его поддержал Попов. И так как ситуация была вроде бы разумная и очевидная, то Черкесов начал кричать на меня, спрашивать, с какого я курса, откуда я такой взялся, почему он меня еще не знает и зачем я с диверсионными целями явился на заседание кафедры. Я сначала терпеливо объяснял, что никаких диверсионных целей у меня не было, что я пришел послушать интересующий меня доклад и вот задаю сугубо научный вопрос... На что он мне очень разумно и резонно отвечал, что вопросы, на которые докладчик ответить не может, не могут квалифицироваться как научные.

Закончилось это тем, что меня попросили уйти с заседания кафедры, и Черкесов предупредил, что больше меня на заседания кафедры пускать не будут. Ну вот тут я завелся впервые, так сказать, на полную катушку.

Может быть, в этом была прагматическая, корыстная цель. Дело в том, что мне все больше и больше нравилась философия как таковая, я к этому времени уже понял, что это область моей жизни (я вспоминал все время слова Вовченко о том, что буду ползать на коленях, просить спасти...), что выхода у меня уже нет (с ребенком, которого надо кормить...); я начал искать для себя такую экологическую нишу, в которой смогу существовать. И тогда на передний план для меня стала все больше выступать логика.

Короче говоря, я пришел к выводу, к которому, как я теперь понимаю, или понял уже даже тогда, приходили, каждый в отдельности, те действительно мыслящие люди, которые попали на философский факультет. К этому времени область логики стала той областью, в которой сосредоточили свои усилия все те, кто на самом деле любил философию и хотел в ней работать, ибо логика не рассматривалась как непосредственно идеологическая область. И в ней, казалось, можно было работать.

Я начал все больше и больше подумывать, не оставить ли все интересовавшие меня вопросы истории, исторического процесса, судеб человека как таковые, во всяком случае формально публично их не выражать, а искать некоторую область профессионализации - искать ее собственно в логике.

И вот примерно тогда же произошла моя первая встреча с Александром Зиновьевым - сначала совершенно юмористическая.

Дело в том, что в ходе многочисленных эпизодов борьбы за свое существование и за разумность, я однажды выступил на групповом комсомольском собрании с критикой системы подготовки, системы образования на факультете. Я говорил, что от нас требуют хорошего знания гегелевской философии, вообще первоисточников, а времени для проработки концепции Гегеля дают две недели, и это смешно. "И поэтому, - сказал я, - нам не удастся читать Георга Вильгельма Гегеля, а приходится читать Георгия Федоровича Александрова. И, прочитав Георгия Федоровича, мы потом весело и вольно рассказываем о Георге Вильгельмовиче". Эта шутка стала известна всему факультету, была распространена среди студентов и дошла опять-таки до комсомольского и партийного бюро факультета. И там решили примерно наказать меня за все эти безобразия. Но как наказать? Ведь говорил-то я вещи совершенно правильные...

А так как Александр Зиновьев был штатным карикатуристом газеты "За ленинский стиль", то ему и дали задание... Его привели, поставили в коридоре, когда я проходил в спорткомитет, чтобы он посмотрел на меня и сочинил стишки, смысл которых был бы прямо противоположен тому, что я говорил: нечего нам читать Георга Вильгельмовича, нам вполне достаточно Георгия Федоровича. Идея состояла в том, чтобы изобразить меня - отталкивающего кипу томов Гегеля и хватающего книжку Александрова "История философии". Что Александр Александрович Зиновьев и выполнил со свойственным ему мастерством и талантом.

Надо сказать, что я тогда ходил в длинной такой финской шапке (это, наверное, очень подчеркивало некоторые характерные линии моего лица) и был гораздо шире в плечах, поскольку бегал на лыжах и поддерживал себя в форме, а кроме того, я носил перешитое из отцовской шинели широкое серое пальто обуженное в талии и с подкладными плечами (а тогда еще носили подкладные плечи) - вообще вид у меня был, наверное, весьма характерный. И он это все схватил очень четко.

А я случайно зашел в помещение комитета, где стоял стол Зиновьева, увидел эту карикатуру на себя, дико разозлился и сказал, что этого дела так не оставлю, поскольку говорил-то я прямо противоположное и есть протокол. Сказал, что подам в суд и на него, на Зиновьева, и на остальных...

Мы все посмеялись очень весело, и Зиновьев отправился выяснять, как же было на самом деле, и советоваться с секретарем партбюро факультета, а им в то время стал Войшвилло. Войшвилло навел справки и сказал, что уж таких подтасовок и такого безобразия газета "За ленинский стиль" допустить не может. И было приказано карикатуру на меня не помещать.

Так состоялась наша первая встреча с Александром Зиновьевым. Надо сказать, что сама по себе она ничем примечательна не была. Мы посмеялись и разошлись, но она послужила тем узелком, или завязкой, которая через полтора месяца связала нас надолго, а в каком-то смысле навсегда - для меня во всяком случае.



Но это уже другая история - история, которая неразрывно связана с логикой и относится уже к началу моих занятий логикой как таковой, к тому, что я начал раскрывать перед собой этот мир. В какой-то мере это еще было подготовлено тем, что я, как и многие студенты философского факультета тех лет, вел преподавательскую работу в школе, преподавал логику и психологию. Так что все к тому шло, наверное, с 1951 года, с октября, а то, о чем говорю, произошло уже в начале 1952 года, весной, в марте-апреле. Вот где-то в это время я "завязал" с истматовской тематикой в официальной части и решил, что буду специализироваться по логике.

Я уже сказал, что такое же решение принимали, по сути дела, многие и многие: это решение принял в какой-то момент Ильенков, это было решением Зиновьева, Грушина, потом Мамардашвили. Логика в тот момент стала центром живой, бьющейся философской мысли страны, это была единственная область, в которой стояли реальные проблемы и задачи и не нужно было все время искать хитросплетения, которые, как я уже говорил, создавали бы защитные барьеры для марксизма как идеологии от марксистских философских положений, и не надо было доказывать вечность и неизменность марксистских положений вопреки всему тому, что содержалось в живом когда-то учении Маркса.

- Вот Вы сказали, что перешли от истмата к логике, а ведь Вы первоначально были распределены на диамат.

Да, но позже оказалось, что значительная часть нашей группы все-таки не хочет и не может заниматься диаматом, зато другие ребята, из других групп, как-то "расчувствовали" это, и поэтому реально первоначальное закрепление не было утверждено, и к началу третьего курса, по сути дела, было отменено.

Думаю, что происходившие тогда события отчасти были связаны с поражением группы Кедрова, Сергея Вавилова, Кузнецова. Когда создавали наше отделение, то, думаю, создавали именно для работы на них и для них. Затем произошел переворот, и их программу развития философских проблем естествознания выбросили как слишком реалистичную и требующую мыслительной работы, и на нас сказало их поражение в верхах.

Тогда это для меня не имело значения. Я просто вдруг увидел, узнал, что первоначальные различия как-то уже сами собой перестали действовать, и мы к третьему курсу оказались совершенно одинаковыми тремя группами и совершенно свободно занимались любой тематикой: диаматовской, истматовской, логической. У нас в этом смысле не было специализации по группам - она приобрела прежнюю университетскую форму, когда каждый студент специализировался не в силу принадлежности к той или иной группе, а в силу личных интересов.

29 августа 1981 г.

Итак, я познакомился с Александром Зиновьевым весной 1952 года благодаря довольно анекдотичной истории... Я ее рассказывал в конце прошлой нашей встречи...

Это была наша первая беседа. Мы говорили о разном - о Гегеле, о Марксе... Я для себя отметил, что это достаточно умный человек, нетривиального мышления. И с этим мы расстались. Он закончил свою работу, а я избежал опасности очередного "протаскивания" в стенгазете.

Настоящая встреча, после которой на пять лет установилась наша дружба и началась, можно сказать, совместная жизнь, произошла осенью 1952 года, где-то в середине или в конце октября месяца. Мы снова встретились в комнате комсомольского бюро, где он как обычно рисовал карикатуры. Вокруг стола, где лежал лист ватмана, стояли несколько человек и горячо обсуждали проблемы логики "Капитала". Разговор этот продолжался где-то около часа. Зиновьев рисовал и вел дискуссию - в первую очередь со Смирновым. Был такой аспирант на философском факультете, может быть, на год старше Зиновьева, может быть, его однокурсник. У них были практически одинаковые темы: логика "Капитала", диалектика в "Капитале", метод восхождения от абстрактного к конкретному в "Капитале".

Это в то время были излюбленные темы студентов и аспирантов философского факультета, особенно тех, кто пытался заниматься философией более серьезно, чем было вообще принято на факультете. На эти темы выходили все, кто искал какую-то реальную область обсуждения - вне прямого давления идеологии. И Зиновьев уже с середины четвертого курса, а может быть, и несколько раньше, занимался логикой "Капитала" и считался - он был тогда аспирантом второго года обучения - одним из крупнейших специалистов по этой части на факультете.

Сейчас, когда прошло тридцать лет со времени нашего знакомства, мне не так просто рассказывать и воспроизводить ту ситуацию, эмоциональную, идейную, человеческую, которая существовала в 1952 году. В особенности потому, что за эти тридцать лет я многое передумал и вижу и представляю себе все это в ином плане, совсем иначе, чем виделось мне тогда. У меня изменилось отношение к самому Зиновьеву, изменилась и оценка его деятельности. Хотя я хорошо эмоционально помню и мою тогдашнюю ситуацию, и наши встречи, и все то, что разворачивалось потом на протяжении пяти лет. Вроде бы все остается в памяти достаточно свежим и может воспроизводиться так, как это было тогда, и сейчас получить объяснение, соответствующее той ситуации. Но кто может гарантировать здесь адекватность или точность? Точность воспоминаний, точность оценок и т.д.?

Потому я буду стараться, зная об этой опасности, отделять то, что мне кажется реальным для той ситуации, от того, что представляется мне сейчас при ретроспективной оценке всех этих событий.

Эта встреча сыграла, конечно, огромную роль в моей жизни и во всем дальнейшем развитии. Прежде всего потому, и об этом я уже говорил раньше, что к этому времени я, хотя и встроился в факультетскую жизнь, но, может быть, острее, чем раньше, ощущал свое полнейшее одиночество. Я ни с кем не мог обсуждать то, что занимало тогда мой ум, я не мог вообще делиться ни с кем впечатлениями о том мире, в котором мы живем, так сказать, своими открытиями, прозрениями, своими представлениями. Я даже не мог обсуждать какие-то мелкие повседневные события факультетской жизни, потому что это всегда приводило к странным последствиям и вообще ставило меня всегда на грань существования на факультете. Я уже говорил раньше, что я в тот период вообще находился на грани самоубийства, поскольку не видел никакого выхода из моей ситуации.

Зиновьев был тем первым человеком, который понимал все или почти все из того, что я говорил. Более того, наши мировоззрения и наши виденья, как тогда мне казалось, были чуть ли не

тождественными. Теперь, по прошествии многих лет, я понимаю, что это была иллюзия: мы были очень разными. Собственно говоря, то, что мы разные, чувствовалось и тогда (я сейчас говорю именно о содержании видения, способах восприятия, оценках, суждениях о будущем), но тогда, после наших первых больших разговоров, о которых я скажу далее, мне показалось, что наши взгляды и представления буквально совпадают. Это был первый человек, с которым я рискнул разговаривать открыто обо всем, что меня волновало, может быть, даже о самом сокровенном - по одной простой причине, что он в отличие от других понимал все. И в какие бы тонкие вещи я ни вдавался, какие бы оттенки мысли ни начинал обсуждать, он моментально подхватывал это и мог дополнить, добавить, развить. И то же самое происходило с тем, что говорил мне он.

Таким образом, в нем я впервые нашел то, что и в литературе, и в обиходе называется "родственной душой". Я нашел в нем родственную душу - и одно это уже было большим счастьем. И тут нет разницы между тем, нашел я на самом деле или думал, что нашел.

И безусловно, в общении с ним за эти пять лет, с 1952 по 1957 год, и в общении с двумя другими членами нашего исходного кружка - Борисом Грушиным и Мерабом Мамардашвили - я действительно сформировался на всю дальнейшую жизнь именно таким, каков я есть.

Больше того, я думаю сейчас, что мне удалось попасть в лучшую компанию, какая только была возможна тогда на философском факультете и вообще, может быть, в МГУ и в Москве. Потому что вся последующая история в общем-то обнаружила, что более сильных и значительных людей в то время, по-видимому, не было, во всяком случае никто не смог проявиться более рельефно и значимо. Я и сейчас, когда перечисляю людей, вышедших с философского факультета и вообще из МГУ в те годы и на протяжении, скажем, двадцатилетия 50-60-х годов, может быть, первой половины 70-х, я и сейчас не нахожу других имен, которые, на мой взгляд, были бы столь же значимыми для развития всего цикла гуманитарных, социальных, философских наук в нашей стране.

Потому я и сейчас считаю, что мне повезло: это была компания людей, которая, может быть, наилучшим образом могла оформить все то, что во мне тогда зарождалось. Я фактически нашел наиболее благоприятную среду для своего развития как человека, как личности - развития того, что во мне тогда уже было.

Это не значит, что между нами не было различий. У каждого из нас было свое особое прошлое, у нас были свои устремления и тенденции - у всех разные, как показала дальнейшая жизнь. Я об этом еще скажу дальше, но при всем том вот этот наш кружок из четырех человек был тогда самое лучшее, что могло быть - из всех мыслимых условий и сред существования. Но я вернусь снова к ситуации октября 1952 года.

Это был очень сложный период в истории нашей страны. XIX съезд, потеря Сталиным в какой-то мере ведущей роли в партии, вынужденный уход с поста генерального секретаря, конфликт со старыми лидерами партии, попытка подобрать новое руководящее ядро - все это происходило на наших глазах, поскольку многие из тех, кого подбирали в новый состав высшего руководства, работали на философском факультете или были как-то связаны с ним. И хотя слухи тогда носили более узкий, более локальный характер, чем сейчас, и труднее распространялись, в общем, все мы хорошо знали (когда я говорю "все мы", я имею в виду всех рядовых студентов философского факультета), что происходят какие-то очень сложные события. Мы умели читать газеты, умели

вылавливать информацию между строк.

С другой стороны, это было очень тяжелое время. Было очень плохо с продовольственными и промышленными товарами. Страна была, по сути дела, на грани, скажем мягко, многих и многих неприятностей. Вместе с тем назревали антиеврейские события, процесс врачей, и это тоже носилось в воздухе.

Как я уже говорил, наиболее думающая часть студентов и аспирантов философского факультета старалась заниматься тогда проблематикой как можно более далекой от социально-политической, и поэтому почти все или многие из мыслящих студентов и аспирантов выбирали в качестве тем своих дипломных или диссертационных работ логические темы.

На третьем и четвертом курсах меня в первую очередь интересовали проблемы классового образования: как вообще создаются и складываются классы. И этот интерес для меня был не только теоретическим, но в каком-то смысле практическим. Я видел намечающийся процесс классового образования вокруг себя и хотел понять, как это происходило в истории. То же самое относилось и к "Капиталу" Маркса, который занимал меня с восьмого класса и который к тому времени я уже знал чуть ли не наизусть.

Но заниматься всем этим всерьез, отдавая себя целиком, было нельзя. Тут действовал невероятно важный и значимый принцип: области размышления и понимания должны были быть приведены в соответствие с реальными условиями существования и с возможностью действовать. И все мы интуитивно, может быть, чувствовали этот принцип очень остро, искали каждый для себя области какой-то творческой целенаправленной работы, которой можно было бы посвятить себя полностью.

Поэтому вовсе не случайно оказалось, что спор, возникший между Зиновьевым, Смирновым и Карпинским, который тоже там присутствовал, меня привлек. Сначала я минут 20-30 молча слушал, что они обсуждают. Потом бросил несколько замечаний, поддержанных Зиновьевым. Слово за слово, и мы начали обсуждать более тонкие темы, и примерно еще через 20-30 минут остальные участники дискуссии, мы это оба почувствовали, как бы отвалились. Они уже перестали понимать, что нас интересует. И тогда Зиновьев сказал, что вот он сейчас дорисует и мы с ним пойдем куда-нибудь и, может быть, выпьем. На что я ответил, что не пью. Он бросил свое привычное "жаль, но я быстро научу" или что-то в этом роде, закончил карикатуру, и мы с ним ушли, продолжая наш разговор по поводу "Капитала" и тех перспектив логического анализа и исследования, которые открывала эта книга. Разговор наш продолжался больше восьми часов кряду, и разошлись мы уже где-то в полпервого ночи на площади Свердлова, пройдя при этом больше часа внутри самой станции метро из конца в конец, и разъехались только потому, что времени уже больше не было. Мы договорились встретиться с ним на следующий день и продолжить наши разговоры.

Я не знаю, почему так получилось - я к тому времени был уже достаточно осторожен и твердо знал, что разговаривать открыто с первым попавшимся человеком нельзя. Это само собой разумелось. Но, с другой стороны, я не мог не разговаривать, потерять возможность разговаривать с понимающим человеком, поэтому никакие законы осторожности здесь уже не действовали.

Мы обсуждали с ним буквально все. Оказалось, что почти по всем вопросам у нас с ним если не тождественные, то во всяком случае очень близкие взгляды. Мы оба отвергали практическую теорию марксизма. Нам обоим, как тогда казалось, было совершенно ясно, что представляет собой

подлинный социализм. Причем (очень интересно, что это обсуждалось тогда же) мы оба считали, что социализм необорим и что это - система, которая будет существовать ну если не многие столетия, то во всяком случае многие и многие десятилетия.

Для меня основные структурные принципы социализма буквально напрямую накладывались на социальные, культурные, политические структуры средневековья. И это тоже составляло очень важное содержание единства нашего мировосприятия. Выяснилось, что мы совершенно одинаково с ним трактовали буржуазную эпоху - как эпоху переходную между устойчивыми социально-политическими и социально-культурными структурами средневековья и вот того будущего времени, которое надвигалось.

Тогда же выяснилось, что мы одинаково понимаем отношение между социализмом и традицией русского народа. Мы оба считали, что социализм, сложившийся в России, носит, по сути дела, национально-русский характер, как ничто более соответствует культурным традициям и духу русского народа и, короче говоря, есть то самое, что ему нужно при его уровне самоорганизации, уровне культурного развития и т.д. И мы оба знали, что миллионы людей находятся в условиях подневольного труда или просто в концлагерях. И все это очень органично замыкалось общим пониманием принципа диктатуры, ее социально-организационных структур и т.д.

Это был первый случай, когда какой-то другой человек понимал, видел, знал все то, что понимал, видел, знал я. Так мне тогда казалось. Правда, при этом было и одно очень существенное различие. И вот теперь я понимаю, что оно было невероятно значимым для всей последующей истории, но я его отметил тогда же.

Это различие заключалось в том, что Зиновьев все понимал и воспринимал сквозь структуру настоящего. Он был на семь лет старше меня. Учился в ИФЛИ до войны. Служил в армии на Дальнем Востоке, потом участвовал в Великой отечественной войне: сначала в танковых частях, потом в авиации, закончил войну летчиком-штурмовиком. Ему было тридцать, мне было двадцать три - нас практически разделяла целая эпоха. Иначе говоря, он был тогда старше меня на самом деле раза в два. И все, что он обсуждал, у него было подкреплено опытом - опытом его собственной жизни.

У меня такого опыта жизни не было. Единственное, на чем я строил свое понимание окружающего, свое мировоззрение и миросозерцание, это знание истории. Историю, как выяснилось, Зиновьев знал плохо. А разговаривать нам было очень интересно, поскольку мы дополняли друг друга. Я обсуждал все в большом историческом контексте. Причем историю я понимал многопланово, потому что таковыми были мои ранние школьные книжки: скажем, работы Покровского с его большими историческими конструкциями сочетались с такими книгами, как "История XIX века" Лависса и Рамбо, книгой очень поверхностной, но дававшей большой конкретный исторический материал. Я в то время уже очень хорошо знал две классические работы Маркса "Классовая борьба во Франции 1840 года" и "Восемнадцатое Брюмера" и владел методом многопланового и многослойного исторического анализа. Все то, что развертывалось у нас в стране, я понимал и осознавал сквозь призму этих исторических аналогий.

Зиновьев, наоборот, работал на четком, ясном, глубоком видении самой окружающей жизни. Но при этих двух совершенно разных типах знания был момент - может быть, один из самых значимых тогда для меня моментов - буквально поразивший меня. Дело в том, что у каждого из нас был свой

прогноз, и, как выяснилось, они совпали: мы оба считали, что Сталину осталось жить пять-шесть месяцев от силы и что в этой ситуации он должен умереть. Мы не знали как, но, по сути дела, тогда, в октябре 1952 года, мы уже думали вперед. Мы думали о том, что будет происходить после смерти Сталина, и это занимало нас обоих в очень большой мере.

Я начал говорить о нашем отношении к основной идее социализма. Помню - тогда, в первый же день, все время фигурировали два понятия: теория социализма и практика социализма. И обсуждался вопрос о соотношении их друг с другом. Но в марксизме была и другая очень значимая для нас сторона - это методология и логика, заложенная в "Капитале" в первую очередь, но и в других работах... А для меня эти другие работы точно так же были невероятно значимыми - работы по макроистории, работы по микроистории, и все это для меня соединялось понятием "методология марксизма". Я тогда безгранично верил и считал, что ничего более мощного человеческого гений вообще не создавал.

Нельзя сказать, что Маркс был для меня непререкаемым авторитетом, - отнюдь. Больше того, я тогда уже очень четко понимал все дефекты и погрешности социологии Маркса и его социально-политического учения. Я, как мне тогда казалось, отчетливо видел все логические и методологические погрешности его социологических построений, и в частности - что для меня было очень важным - я очень хорошо понимал, что устранение буржуазных отношений эксплуатации отнюдь не устраняет отношений господства и подчинения между разными стратами, слоями и классами. Отсюда мой интерес к процессам классообразования, отсюда тематика моих занятий. Но к тому времени я уже очень четко понимал, что начинать надо не с этого, а именно с учения о методе.

Такое убеждение сложилось у меня уже в самом начале 1952 года, когда я обдумывал историю своей жизни на философском факультете и перспективы своей работы. Вот именно тогда, в начале 1952 года, я определял принципы моей дальнейшей жизни на длительную перспективу. И тогда я твердо решил, что основной областью моих занятий - на первое десятилетие во всяком случае, а может быть и на всю жизнь - должны стать логика и методология, образующие "горячую точку" в человеческой культуре и в мышлении.

Больше того, к тому времени, к лету 1952 года, у меня сформировалась идеология, очень близкая к той, которую потом через два десятилетия сформулировали братья Стругацкие, а именно: я представлял себя прогрессором в этом мире. Я считал (в тогдашних терминах), что Октябрьская революция начала огромную серию социальных экспериментов по переустройству мира, экспериментов, которые влекут за собой страдания для миллионов людей, может быть, их гибель, вообще перестройку всех социальных структур...

Но тогда я относился к происходящему как к естественноисторическому процессу, в который я вовлечен. И, определяя для себя, чем же, собственно говоря, можно здесь заниматься, я отвечал на этот вопрос - опять-таки для себя - очень резко: только логикой и методологией. И в этом был ключ к дальнейшему развитию. Сначала должны быть развиты средства человеческого мышления, а потом уже предметные, или объектные, знания, которые всегда суть следствие от метода и средств.

И вот в беседе с Александром Зиновьевым я и увидел близость, чуть ли не тождественность наших взглядов и представлений. Тогда же, в первый день нашей встречи, мы, наверное, половину времени говорили о логике, методологии, о перспективах их развития и о связях между ними. И для

тогдашнего Зиновьева Маркс точно так же олицетворял собой величайшего мыслителя, и он точно так же, как и я тогда, был убежден, что методы, методы анализа сложных систем, в частности социально-экономических, деятельностных, были сильнее и мощнее всего развиты именно Марксом и в марксизме.

Я отклонюсь немного в сторону. Сейчас ходят в "народе" байки, что Зиновьев никогда не занимался "Капиталом", что он на самом деле на одной из пьянок подрядился дать его критику и что, якобы, как он это пишет в одной из своих пародийных книг, после этой пьянки он проснулся у меня в комнате, раскрыл глаза и увидел над собой, на полке, поставленные в ряд томики "Капитала" и "Критики политической экономии" - и вспомнил о своем вчерашнем обещании наконец прочитать все это. Повторяющие эту байку могут ведь и поверить в то, что так оно и было в действительности. Но к октябрю 1952 года, когда мы встретились во второй раз и впервые по-серьезному разговаривали, Зиновьев произвел на меня впечатление тем, что очень хорошо знал "Капитал", и, мало того, он имел свои собственные идеи по методу восхождения от абстрактного к конкретному, которые - я всегда так думал и продолжаю так же думать и сейчас - были совершенно новым словом в логике и методологии марксизма, и в этом отношении, как раз вот по этому узкому вопросу - опять-таки я здесь реагирую на распространившиеся в последнее время байки - он имел представления, намного опережавшие представления других людей, или, может быть, намного поднимавшиеся над представлениями других.

Но это я выяснил, понял позднее, а тогда основное, что я выделял и что меня подкупало, так это то, что он очень хорошо понимал все, о чем я начинал говорить, и даже если предположить, что то, что он говорил, и не было им продумано раньше, то оно во всяком случае находилось в зоне его ближайшего возможного развития, и поэтому он мог и реагировать, и подхватывать все то, что занимало меня, ну а мне казалось, что я могу обсуждать все то, что говорил он, и вроде бы достаточно хорошо его понимаю.

Я уже сказал, что я фиксировал различие опыта. Его опыт, практический опыт в первую очередь, был неизмеримо больше моего. И это меня покоряло и подкупало, но мое знание истории и различных ее коллизий было много богаче, чем у него, и этим мы дополняли друг друга...

Мы договорились встретиться на следующий день на факультете, и мы встретились, и продолжали наши разговоры, и никак не могли насытиться этим взаимопониманием. И с этого момента - по сути дела, с предыдущего дня - стала непрерывно расти моя любовь к нему.

Вот сейчас, обдумывая весь тот период, я могу сказать, что я полюбил его и любил тогда в первую очередь "мыслительно", т.е. я его любил как со-мыслителя, как человека, который мыслит адекватно моим способам мышления. Я думаю, что в силу предшествующего достаточно долгого духовного одиночества мое стремление найти собеседника и "родственную душу", опять же говоря этими банальными штампами, стало настолько сильным, что когда мы встретились и я почувствовал его интеллектуальную силу и созвучность наших представлений, то уже одно это было достаточным основанием, чтобы я его полюбил. И этот запас любви, который формировался раньше в условиях одиночества, он естественно должен был вырасти и найти какой-то выход. И поэтому вполне возможно, - я так думаю сейчас - мое отношение было обременительным для него. Может быть...

Следующей очень важной вехой в развитии наших отношений с Александром Зиновьевым была

защита моей дипломной работы - в апреле 1953 года. Я называю это важной вехой, поскольку именно тогда мы сорганизовались для того, чтобы совершить определенное социальное действие. Пустяковое на самом деле - обеспечить мою защиту, но на пути развития Московского методологического кружка - в его первой форме, как содружества четырех человек - это был очень важный эпизод, по сути дела, конституировавший саму группу.

До того времени мы регулярно встречались с Зиновьевым, но нельзя сказать, чтобы очень часто. Я был занят работой над дипломным исследованием, и работа эта была очень напряженной, было много событий довольно сложного характера, я работал одновременно преподавателем в школе, у меня была семья... В общем много чего разного было по разным линиям, но раз в неделю мы обязательно виделись и обсуждали наши проблемы.

В тот период наши беседы не имели рабочего характера. Это было скорее продолжение мировоззренческих разговоров и взаимное обогащение друг друга представлениями, понятиями из самых различных областей и сфер. Как правило, мы встречались в дни, когда у меня не было школьных занятий, либо в первой, либо во второй половине дня, и устраивали длительные прогулки по московским улицам или бульварам в течение трех-четырёх часов, во время которых и обсуждали самые различные темы.

Моя дипломная работа - она для меня определилась, как я уже говорил, где-то весной 1952 года - была посвящена развитию естественнонаучных понятий. Я тогда учился в группе философии естествознания, (а еще была группа гуманитарных, социальных наук), но меня интересовали взаимоотношения между гуманитарными и социальными науками, с одной стороны, и естественными науками - с другой. И первый вопрос, который меня здесь занимал, это процессы и механизмы образования научных понятий в этих двух областях. У меня была намечена небольшая программа подобных исследований на пять-восемь лет.

Пока, на этом первом этапе, я прорабатывал в основном понятия из физики и химии, вел сравнительное изучение истории физики и химии (у меня сохранилось огромное количество папок с выписками из разных работ и с набросками маленьких историй развития тех или иных понятий). Основных категориальных понятий, которые меня тогда занимали, было, наверное, три или четыре десятка.

Иногда я начинал рассказывать Зиновьеву о том, над чем я думаю в этой области, но его, как правило, это мало интересовало, и он быстро свертывал обсуждение, переходя на что-то другое.

Я познакомился с его женой, Тамарой Филатьевой, она работала в "Комсомольской правде". Зиновьев вторично познакомил меня с Грушиным. Вторично - потому что мы с Борисом Грушиным были хорошо знакомы по работе в спорткомитете. Он был председателем спортсовета факультета (потом я сменил его на этом посту). Поэтому "внешне" мы хорошо знали друг друга, но я совсем не знал его как логика и исследователя. Тем более, что в тот год он основную часть своего времени проводил в узком университете, членом которого он был, и практически не появлялся на факультете: это был первый год его аспирантуры.

Изредка мы встречались и тогда же, где-то в начале 1953 года, начали обсуждать интересовавшие его темы соотношения логического и исторического и методов исторического исследования. Тема эта



меня очень интересовала, я хотел обсуждать ее, но Борис был очень занят, и поэтому нам это редко удавалось.

Я в то время был уже хорошо знаком и с Мерабом Мамардашвили, но опять-таки совсем не как с мыслителем, а как с игроком сборной факультета по баскетболу. И поскольку я-то был председателем спортсовета факультета, тренировал женскую сборную команду по баскетболу и "болел" за выступления нашей факультетской команды, Мераб как игрок меня очень не устраивал. Я считал его однообразным и негибким в действиях и, по-видимому, я так понимаю, изрядно надоел ему, читая нотации о том, как надо правильно играть в баскетбол. Как всякий настоящий грузин, он считал, наверное, что играет в баскетбол наилучшим образом и то, что он не в сборной Союза, это пока просто недоразумение, и уж заведомо никто не мог давать ему вообще никаких советов, а тем более, как надо играть в баскетбол.

Так вот, Мераба я очень хорошо знал именно как игрока сборной команды факультета по баскетболу, и у нас были в связи с этим контакты и даже иногда столкновения, но все это совершенно не распространялось на другие области отношений. То, что он может обсуждать какие-то серьезные вопросы и размышлять по поводу серьезных тем, стало для меня открытием год спустя. Правда, наверное, это скорее говорит о моем способе жизни на факультете, чем о Мерабе. Я мало что знал и вообще был вне тех связей, которые складываются в общении на Стромынке в постоянных контактах студентов друг с другом, поскольку жил вне этого, занятый своими темами, и беседы с Зиновьевым были для меня, по сути дела, единственным окном в человеческий мир. Хотя при этом у меня было огромное количество встреч, но по побочным линиям: и в университете в целом, и на самом факультете я знал практически всех, но только с одной определенной стороны - как спортсменов, - не вникая вглубь интересов людей, их жизни и т.д.

Во многих отношениях конец 1952 и начало 1953 годов были для меня очень трудными: я буквально чудом избежал ареста. Ибо последствия разных историй, из которых мне удавалось счастливо выкручиваться в предшествующие годы, постепенно суммировались, и к ноябрю 1952 года на факультете уже сложилась ситуация, которая грозила стать для меня последней, о чем я вам уже рассказывал. Теперь я кое-что напомним.

К этому времени у меня были достаточно хорошие отношения в группе, я пользовался и уважением, и авторитетом. Где-то в ноябре 1952 года меня позвали в пивной бар, уговорили пойти, несмотря на мои протесты, и там ребята рассказали мне, что их вызывали в партбюро, потом к представителю ГБ, заставляли написать на меня заявление - либо о моей антисоветской деятельности, либо о невменяемости. Долго размышляя над тем, что же делать, они решили, что лучше написать, что я психически неполноценный, что будет лучше, если меня отправят в психиатрическую лечебницу, нежели посадят в тюрьму.

Там, в этом пивном баре (он находился там, где сейчас находится "Детский мир", - знаменитый московский пивной бар, хорошо оборудованный, известный еще с дореволюционных времен) у нас и происходил этот странный разговор. Говорилось о хорошем ко мне отношении, что лично против меня никто ничего не имеет, но вот ситуация вынуждает так действовать, и поэтому они выбрали самый лучший для меня, самый легкий путь. А я вроде бы вынужден был ребят утешать, говорить, чтобы они не переживали и не нервничали, поскольку даже если я сейчас и сяду, то сидеть мне

придется не так долго - полгода, максимум год, - и после этого я выйду. Они меня спрашивали, почему я так уверен, а я делал умный вид и говорил: "Вы, ребята, не беспокойтесь - все будет в порядке".

Пришел март - март 1953 года. На факультете через специально развешенные репродукторы регулярно сообщали о тяжелом состоянии товарища Сталина, о развитии его болезни. Народ толпился. В узких коридорах факультета стояли плотно, спина к спине, тяжело дышали. Потом спрашивали друг друга: ну как, выздоровеет или нет?

У меня было ощущение, похожее на состояние некоторых больных (я знаю это по рассказам), когда больной хорошо воспринимает окружающую ситуацию, но никак не включает себя в нее, т.е. существует как бы вне и помимо. Я четко понимал, что Сталин уже умер; иначе не было бы вообще никаких сообщений. Я понимал, что начинается совершенно новая часть или полоса истории советской России. Я был страшно доволен, что меня не успели забрать, что я и на этот раз проскочил. И я с любопытством вглядывался в это предстоящее будущее, непрерывно и очень напряженно думал о том, как изменится наша жизнь и что, собственно говоря, надо делать.

Но в тот момент еще не было ни кружка, ни компании, или товарищеского коллектива, который у нас сложился потом. События продолжали течь своим естественным, обыденным руслом. Было несколько человек, с которыми я тогда мог делиться своими впечатлениями и своими мыслями. Это был Зиновьев, это была моя первая жена Наташа Мостовенко, это был мой давнишний приятель с физфака Виталий Бернштейн. Я помню, как поразил Наташу, когда 4 или 5 марта рассказал ей, что будет происходить в ближайшие полтора года в нашей стране. Она долго не могла отделаться от гипноза этого впечатления: оказалось, что я рассказал ей все, буквально по месяцам, так, как оно потом реально и происходило. И потом, уже через годы, она спрашивала меня, откуда я все это знал, кто мне мог рассказать.

И точно так же я помню, что в день похорон Сталина мы сидели с Витькой Бернштейном в столовой Верховного Совета, куда мы обычно ходили обедать. На улице играли траурную музыку. И он спрашивал меня: а что же будет? И я в меру того, как я это понимал, рассказывал ему, что будет происходить и куда начнет двигаться советская страна. И он тогда тоже с большим удивлением глядел на меня и все повторял одно: это ж фантастика, это все-таки фантастика.

Я вспоминаю об этом потому, что для меня самого это была какая-то очень странная игра - чисто мыслительное построение. И я верил в свои конструкции ровно в такой же мере, в какой я в них абсолютно не верил. Игра - поскольку вот так надо было говорить, и мыслительно так вот оно и должно было происходить. Я сам не относился к своим словам всерьез, ибо в то время мое мышление в общем-то никогда не подкреплялось практикой. Практикой какого-то большого социального действия, практикой реализации каких-то проектов и т.д. Только близким мне людям, людям, которых я не боялся, я мог рассказывать свои фантазии. И если я при этом врал, то врал в общем-то как мальчишка, не боясь, что это будет воспринято как вранье. И то обстоятельство, что потом это мое "вранье" начинало осуществляться, и главное осуществляться с удивительной точностью, в дополнение к тому, что мы с Зиновьевым в октябре 1952 года тоже оказались правы в наших прогнозах и оценках, - вот все это заставило меня поверить в силу такой, чисто аналитической, предсказывающей мысли, в силу того теоретического представления, которое у меня

сформировалось, и почувствовать его прогностическую действенность. Это было, может быть, более удивительным для меня самого, чем для всех остальных, и в дальнейшем заставило меня относиться к самому себе всерьез, потому что оказалось, что я могу выделять такие вот вещи.

Для того чтобы передать это ощущение, его можно сравнить с тем, с теми ощущениями, которые описывают мистики разного рода: можно представить так, что это не я говорил, а через меня говорило что-то другое - мышление, или мысль. Я потом много раз ловил себя на этом феномене: когда я начинаю свою работу, докладываю или начинаю рассуждать, то часто не знаю, к чему я приду, хотя всегда прихожу, куда надо.

Вроде бы, это все получалось само собой. Что-то как будто вне меня существующее, вот то, что я трактовал как мышление, оно и говорило все это. И потому идея, что все мы лишь телефонные аппараты, подключенные к какой-то единой сети, через которую все и осуществляется, удивительным образом накладывалось на мои бытовые феноменальные ощущения.

- И в этих прогнозах не было ошибок?

А здесь же не действует понятие неточности, или ошибки, поскольку сам прогноз ведется в таких терминах... Ну я могу пояснить, что это значит. Тогда, в октябре, мы говорили, что Сталин будет жить всего пять-шесть месяцев. И было совершенно четкое понимание, оно даже было обговорено, что умрет ли он сам или его уберут - это не имеет значения, но вот он должен умереть, и должны наступить перемены.

А вот то, что я обсуждал в первые дни марта, касалось необходимости борьбы за власть, возможных претендентов на эту власть. Назвать их было очень нетрудно - все было совершенно очевидно. Были совершенно очевидными, действительно зримыми сроки этих перемен, и они совпадали в месяцах. Я мог обсуждать "взрывы", которые будут по частям происходить, и опять-таки они совпадали с точностью до полутора или двух месяцев.

Тогда же я совершенно отчетливо видел первый приступ оттепели. Примерно представлял себе, как и что будут делать люди, как они будут выступать. Я видел и понимал, что будет происходить в мире политики, философии и идеологии истории... Называл события и линии, по которым начнется критика сталинизма. Тогда же в разговорах октябрьского периода, я высказал Зиновьеву свою гипотезу - вроде бы в одной из своих книг он приводит ее с косвенной ссылкой на меня - гипотезу, объясняющую механизмы 1928, 1935, 1937, 1949, 1952-1953 годов, механизмы внутривластной борьбы, механизмы выдвижения и формирования страт в стране. И тогда же я говорил и был твердо убежден в том, что фактически ресурс достаточно грамотных людей, способных занимать руководящие посты, уже исчерпан, что партия на самом деле съела свою верхушку, и потому следующим важным шагом, который должен быть сделан в ближайшие два-три года, станет разоблачение этого механизма, для того чтобы он не мог повторяться, т.е. что партия должна создать какую-то ретроспективную версию всего того, что было, "повесить" все на Сталина и каким-то образом оградить себя от повторения подобного .

Вот это, наверное, было самым важным моментом в том плане, который бы я выделил, отвечая на Ваш вопрос. И, в частности, насколько я понимаю, это и на Зиновьева произвело впечатление, и этот момент он тогда отметил, запомнил.

Такого рода прогнозы и понимание того, что будет происходить, были теснейшим образом связаны с проблемой самоопределения, т.е. я обдумывал это всегда и постоянно с одним вопросом: а что это означает для меня и как я должен вести себя и действовать, чтобы моя жизнь и работа были осмысленными?

И тогда я снова и снова отвечал себе, что определение принципиальных линий остается прежним и что, как бы ни разворачивалась политическая ситуация, область моей работы лежит вне политики - она касается значительно более глубоких механизмов.

И вот в этом, наверное, и заключается самое большое принципиальное различие между Зиновьевым и мною - и в самооценке, в самопонимании, и в оценке всего того, что происходило. Конечно, на эти мои соображения уже накладывается продуманное за эти тридцать лет, но я фиксирую здесь то, что осознавалось и мыслилось мной, причем очень резко и принципиально, уже тогда.

Наверное, самое главное, что здесь должно быть выделено и что потом непрерывно подтверждалось и развивалось, это то, что я придавал чисто политическим и социально-классовым отношениям второстепенную роль по отношению к традициям и культуре жизни народа. И первую фазу всего этого гигантского социального и социокультурного эксперимента я понимал не в аспекте политических или социально-политических отношений, а прежде всего в аспекте разрушения и ломки всех традиционных форм культуры. И я был тогда твердо убежден, что путь к дальнейшему развитию России и людей России идет прежде всего через восстановление, или воссоздание культуры - новой культуры, ибо я понимал, что восстановление прежней культуры невозможно. Именно тогда, в 1952 году, я сформулировал для себя основной принцип, который определял всю дальнейшую мою жизнь и работу: для того чтобы Россия могла занять свое место в мире, нужно восстановить интеллигенцию России.

Смысл своей работы я видел в том, чтобы всячески, по всем линиям, во всех возможных формах способствовать восстановлению интеллигенции. И я для себя решил, что остальное, включая вариации, коллизии социально-политической жизни, никогда не должно меня интересовать и я никогда не должен выходить на уровень прямого участия в этом, что назначение и смысл моей работы, в том числе и как философа, как социального мыслителя, как логика и методолога, состоят лишь в развитии средств, методов, способов, форм мышления и что жизнь моя и работа должны заключаться в том, чтобы выискивать людей, способных осуществлять эту работу, и создавать условия для их жизни, для их развития. На это должны быть направлены все мои усилия, и этим же они вместе с тем и должны ограничиваться.

И вот здесь, наверное, требует обсуждения другой очень интересный вопрос, но уже обсуждения с точки зрения сегодняшнего дня. Я думаю, что огромное, принципиальное различие, которое уже тогда было между Зиновьевым и мною, состояло в том, что моя позиция была социально-стративной очень резко определена: если говорить в вульгарных социологических терминах, я был сыном своего класса, класса партийных работников. И не только. У меня было прошлое - прошлое, которым я гордился; причем это было не просто советское прошлое, а прошлое, захватывавшее... ну, по крайней мере три-четыре известных мне поколения. Прошлое и моего отца, и моей матери, которое обязывало меня вести себя определенным образом. Вместе с тем это прошлое, которое я понимал как прошлое русской интеллигенции, создавало для меня очень ясную перспективу будущего.

И вот то, как я себя тогда, в 1952 году, мыслил, как я понимал смысл своей жизни и работы, не изменилось у меня до сих пор. Я, действительно, до сих пор себя мыслю идеологом интеллигенции, идеологом, если можно так сказать, собственно культурной, культурологической, культуротехнической работы. И в этом смысле моя позиция является сугубо элитарной.

Мне тогда уже, в 1952 году, казались бессмысленными демократические установки русской интеллигенции - установки, которые выражались в слезах по поводу жизни народа, условий его существования, в заботах и стонах о народе. Я тогда же, в 1952 году, сформулировал принцип, которого придерживаюсь и сейчас. Каждый должен заботиться о себе, в первую очередь о себе как о культурной личности, и в этом состоят его обязанности, его обязательства перед людьми, каждый отвечает за свое личное поведение: не быть подлым, не приспосабливаться к условиям жизни, наоборот, постоянно сохранять неколебимыми принципы и позицию, бороться за сохранение принципиальности в любой ситуации. В этом и состоит, собственно говоря, социально-стратовая позиция.

Я полагаю и полагаю сейчас, что как бы ни менялись социально-политические условия, человек может оставаться интеллигентом, мыслителем. Интеллигент обязан оставаться мыслителем: в этом его социокультурное назначение, его обязанность в обществе. Интеллигент всегда обязан обществу, и его обязанность состоит в том, чтобы понимать, познавать и строить новые образцы. И это было как бы "завещание" и моих родных, и моей страты - я обязан был перед всеми теми, кто погиб, кто был уничтожен, продолжать эту линию.

И потому у меня было совершенно очевидное и ясное будущее. Оно опиралось на видение истории России и истории других стран мира. В этом я черпал поддержку, основания и силы для своей позиции. Я понимал, что история есть естественноисторический процесс, что люди, отдельные люди, так же как и отдельные страты, не вольны в выборе условий существования, они не выбирают ситуацию, а долг человека жить активно, продуктивно и осмысленно в любой ситуации, какой бы она ни сложилась или какой бы она ни получилась.

И поэтому я считал и считаю - я неслучайно ссылаюсь на идеи братьев Стругацких, - что и я, и все мы, т.е. принадлежащие к страте интеллигенции, мы все являемся членами группы "свободного поиска". Иначе говоря, мы живем в условиях огромного социального эксперимента, который проходит в мире, и обязаны выполнять свою функцию, выполнять ее всегда, каждодневно и постоянно, сейчас - в такой же мере, как и тысячу лет назад, и в такой же мере, как через тысячу лет в будущем. И вот эти функции и назначения казались мне тогда вечными. Вечными. Постоянными. Это был инвариант жизни - моей и мне подобных.

И в этом смысле я считаю себя оптимистом, и у меня такое ощущение, что я всегда был оптимистом, поскольку любая ситуация, какой бы страшной она ни казалась и какой бы страшной она на деле ни была, воспринималась мною как материал, который надо понять и который надо по возможности ассимилировать. Мне были очень близки слова Маркса, и я повторял их с юношеской задорностью, повторял столько раз и так верил в эту идеологию, что она определила все остальное: "жизнь это борьба, борьба за саму эту жизнь".

В силу этой установки я в принципе не мог быть пессимистом и не мог не иметь будущего - все мне представлялось, наивно так и очень просто, поставленным на место и очевидным, и никаких

колебаний, отклонений здесь не могло быть, что бы ни происходило кругом.

Зиновьев же - я это чувствовал и знал уже тогда, а сейчас это стало убеждением, которое все время подтверждается - не имел тогда и не мог иметь такой позиции. У него не было прошлого. Он не мог отнести себя ни к какому классу, ни к какой страте, тем более не мог отнести себя к интеллигенции. Он говорил: "Мой отец - алкоголик". Он часто вспоминал деревню. Может быть, если бы не было этих социальных пертурбаций и его семья оставалась в деревне, он, может быть, имел бы эту историю, историю деревни, которая бы и актуализировалась для него затем в разнообразных социокультурных отношениях. Но деревни давно уже не было, а он был студентом ИФЛИ, танкистом, летчиком, прошедшим всю войну, побывавшим в странах Запада. Он уже читал не только Маркса, но и Гегеля, и Беркли, и Юма, и он принадлежал сфере мышления. Но вот у него лично не было никакого прошлого и не было истории, он входил в этот мир впервые. Он входил только через свой очень сложный и богатый опыт жизни.

Я не думаю, что есть еще другие поколения, которым было бы дано так много и так жестоко, как это было дано поколению Зиновьева. Мы можем найти в истории не менее жестокие времена, не менее бессмысленные по всему тому, что происходило на поверхности, но это был пик. Это был пик, когда в плане социального напряжения на протяжении жизни одного поколения собралось... ну буквально все. Поэтому, фактически, история ему была не нужна. То, что он прожил - сначала в период раскулачивания, потом жизни в Москве, потом учебы в ИФЛИ, потом во время пребывания своего на Дальнем Востоке и во время войны - вот этого всего хватило бы не на одну жизнь. Его индивидуальный опыт был единственным, на что он мог опираться, и его было достаточно, чтобы составить содержание жизни.

Он представлял собой комок нервов. Это вообще был удивительно восприимчивый, "звонящий" аппарат, который отзывался на мельчайшие изменения - остро воспринимал их, чувствовал, реагировал. И я-то убежден, что пил тогда Зиновьев только для того, чтобы заглушить, забить эту постоянную остроту своих переживаний и реакций.

Он ненавидел практический социализм - такой, каким он предстал для него. Он ненавидел его в прошлом, он ненавидел его в настоящем. А так как мы оба считали, что социализм есть неизбежная форма, к которой идет весь мир - и мир развивающихся стран, которые в то время еще только-только начинали называть развивающимися, и мир капиталистический, с нашей точки зрения, неизбежно и вынужденно шел туда же, - то вот этот социализм, который мы имели здесь и который Зиновьев имел возможность наблюдать во всех его вывертах, он проецировался туда - в будущее. Поэтому Зиновьев еще больше ненавидел будущее, альтернативы которому он не видел. И для него все практически концентрировалось на вопросе: как же сумеет в таком мире прожить он?

Наверное, к сказанному нужно добавить еще одно. Я действительно принадлежал к классу, нельзя сказать богатых, но социально обеспеченных. В каком-то смысле, если понимать правящую часть предельно широко, я принадлежал к власти имущим. Я имел отдельную комнату, я имел родителей, которые могли меня прокормить при любых условиях. Я мог работать, мог только делать вид, что я работаю. Я мог учиться столько, сколько я хотел. Я не нуждался практически в деньгах, поскольку потребности мои были минимальны. У меня были штаны, у меня были ботинки, и часто они не были рваными, или, иначе говоря, даже если они вдруг оказывались рваными, ну так неделю или две я

ходил в рваных ботинках, а потом мне покупали другие. Я был москвичом с момента рождения, я практически ни в чем не нуждался. У меня не было потребности что-либо добывать.

Этим я очень сильно отличался - я уже как-то говорил Вам об этом - от всех остальных членов кружка: и от Грушина, и от Мамардашвили, а тем более от Зиновьева. Они все испытывали нужду. Им нужно было добыть квартиру в Москве. Зиновьев сначала один, потом вместе с семьей постоянно мыкался из одной квартиры в другую и практически не имел пристанища. Грушин все свое детство спал на тюфяке под столом вместе со своим братом, поскольку у них просто не было постели на двоих здоровых парней. Мераб точно так же должен был как-то закрепиться в Москве. Им всем, для того чтобы существовать, надо было сначала самим создать условия для своего существования.

Мне этого было не нужно. У меня было все для того, чтобы я мог вести ту жизнь, которую я выбрал. И это, безусловно, очень сильно влияло на наши мировоззрения и отношения к ситуации. Мне очень легко было быть бескорыстным, поскольку я на самом деле не нуждался ни в чем жизненно необходимым, а они все нуждались в этом и поэтому не могли быть столь же бескорыстными. Как бы ни декларировалась свобода, независимость, вольнодумство, всегда фоном стояли вопросы: а где я буду работать? смогу ли я остаться в Москве? и куда, собственно говоря, я пойду после университета? и что произойдет, если вдруг мне придется два или три месяца не работать? на что я буду жить?

У меня таких проблем не было никогда. И поэтому, размышляя сейчас и по поводу всей нашей истории, и по поводу мотивов, которые заставляют Зиновьева писать так, как он пишет, я вот для себя - может быть, неправильно - объясняю это его отношение, эту его позицию тем, что он всегда вынужден был быть корыстным в том узком смысле этого слова, которое я ввел, и он не мог спокойно относиться ко мне в моем благополучии, хотя и чисто внешнем. Я вот не могу убрать этого момента... И думаю, что те тексты, которые он потом написал, они достаточно это демонстрируют: слова о генеральском доме и многие другие - они сейчас показывают, что этот момент был для него значимым.

Но мне важен даже другой аспект этой проблемы. Я говорю не просто о личностных характеристиках. Я говорю о том социально-стративном положении, которое должно было отражаться на личностных характеристиках. Я могу это еще раз коротко резюмировать так, в таких коротких положениях: у меня было социально-стративное прошлое - у Зиновьева такого социально-стративного прошлого не было; у меня было совершенно ясное будущее, и оно мне представлялось оптимистичным - у Зиновьева не было исторического будущего, поскольку он не считал себя ни членом страты, ни членом класса, ни членом сообщества интеллигентов. Он был один. Вот он - Зиновьев, который чудом уцелел, который еще должен пробиваться, - и все: его существование, его мысли, то, что он сделает, напишет, целиком зависят от того, сумеет ли он, успеет ли он пробиться или нет, или его удавят раньше.

У меня было не так... Ну, конечно же, мне надо было не погибнуть. Но это от меня практически не зависело. Я соблюдал правила осторожности там, где это было можно, и это было единственное, что я мог сделать, а все остальное было дело случая. И поэтому я мог быть фаталистом и вообще не обращать на это внимание, в принципе. Надо было просто соблюдать правила безопасности по принципу "береженого Бог бережет" и больше, так сказать, этим не заниматься.

У Зиновьева же это доходило до смешного. Был такой период, года полтора или два, когда он ходил

только по середине тротуара. По середине, а не у домов, чтобы камень с крыши не упал и не убил его, и не у края тротуара, чтобы не сбила машина, которая может выскочить на тротуар. Поскольку - я это очень хорошо понимаю - то гениальное содержание, которым он владеет, надо было сохранить, а для этого надо было сохранить свою жизнь и получить возможность работать. Комната, зарплата, свобода и т.д. - все зависело от того, насколько он будет прагматически правильно и умело действовать. И он был прав. Его будущее было связано только с его личной судьбой.

Мое будущее носило отчужденный характер, и больше того, я мог рассматривать себя как слугу - слугу определенной социальной страты. И я должен был выполнять свою миссию. Бестрепетно, с верой в судьбу, не делая ошибок. Вот что требовалось от меня. Не делая ошибок и оставаясь принципиальным, ибо мы оба, между прочим, очень точно понимали, и это тоже одна из важных тем наших обсуждений, что уцелеть может только принципиальный человек.

Соблюдение раз сформулированных принципов стало для нас аксиомой жизни. И, в частности, для меня это было жизненно значимым с самых первых лет учебы в университете. Я уже рассказывал об этом. Когда я проходил через все свои передрыги, то я каждый раз потом фиксировал только одну вещь: я уцелел и могу продолжать жить только потому, что ни разу не изменил себе и не начинал колебаться. Я практически в каждом случае получал подкрепление этой аксиомы: выжить может только принципиальный, а беспринципность моментально ведет к уничтожению. И я это наблюдал в жизни постоянно.

Поэтому моя задача состояла в том, чтобы нести свой крест и выполнять свою миссию, не трусить при этом и оставаться принципиальным и осторожным, т.е. не позировать, не играть, а быть выполняющим свое дело. И об этом-то я постоянно и говорил в наших с Вами беседах по поводу способа жизни, форм жизни, принципов жизни и т.д.

И последнее. Я имел возможность быть бескорыстным. Когда на VII Всесоюзном симпозиуме по логике и методологии науки в Киеве Бонифатий Михайлович Кедров провозгласил такой полуанонимный тост за "самого бескорыстного человека в философии" и почему-то все пошли ко мне чокаться, это было одним из радостных дней моей жизни. Но опять-таки не потому, что я получил подкрепление своей самооценки, поскольку я в этом смысле достаточно самоуверен и всегда исхожу из того, что важно и принципиально не то, как меня оценивают другие, а то, как я оцениваю себя сам. Это был для меня очень радостный день, поскольку он служил подтверждением моего тезиса - я на нем опять-таки стою очень твердо, - что подлинное поведение всегда в конце концов будет оценено соответствующим образом. Мне было радостно не потому, что меня так оценивают, а потому, что я в этом видел факт бесспорного общественного сознания, подтверждение не моего личного, а общественного убеждения, что сохранение принципов жизни и достоинства приводит в конце концов к социальному признанию.

Зиновьев не мог быть бескорыстным. И вот сейчас я глубоко убежден, что, по-видимому, начиная с первых дней нашего знакомства, он "завидовал" мне. Тому, что я живу в генеральском доме и могу не беспокоиться о жилье. Тому, что я попадаю в передрыги и почему-то вылезаю из них невредимым. Тому, что моя статья 1957 года вышла раньше, чем его первая статья. Он даже почернел, когда я принес ему эту статью с дарственной надписью. И я тогда с очень большой горечью отметил это, хотя мне было совестно. Мне было совестно, потому что я считал, что это большая несправедливость по



отношению к нему: его первенство, конечно, было безусловным, и мне было неловко, поскольку это было нарушением принципа "достойному да воздастся".

Я повторяю еще раз: я пытаюсь объяснить сейчас личностные мотивы того, что происходило потом, хотя вся эта история требует, конечно, более глубокого анализа, который я и постараюсь дать дальше - по существу, так сказать, наших разногласий, расхождений, и тех дискуссий, которые между нами происходили. А сейчас, охарактеризовав в общем и целом этот период, с октября 1952 по апрель 1953 года, я хочу вернуться к тому второму очень важному эпизоду, который после нашего знакомства с Александром Зиновьевым явился в каком-то смысле даже поворотным в становлении Московского методологического кружка.

Это было наше первое социальное действие - социальное действие, которое мы производили втроем: я как автор дипломной работы, Зиновьев и Грушин. К тому времени я окончательно решил, что занимаюсь логикой и только логикой. Я записал себя как дипломника по кафедре логики, и моим руководителем был доцент этой кафедры Евгений Казимирович Войшвилло. Заведующим кафедрой был Виталий Иванович Черкесов, и он был научным руководителем... нет, научным руководителем Зиновьева был Митрофан Николаевич Алексеев. К этому времени у меня уже назрел очень острый конфликт как с Алексеевым, так и с Черкесовым. По-моему, я рассказывал историю своего выступления на кафедре логики по поводу развития форм мысли. Евгений Казимирович Войшвилло, который одновременно был секретарем партбюро факультета, тогда достаточно твердо поддерживал меня.

Писал я свой диплом, не консультируясь с ним, поскольку он мне сказал, что ничего не понимает в развитии понятий, но с удовольствием бы прочел работу на эту тему. И он первый раз увидел мою дипломную работу примерно за три или четыре дня до защиты.

И тогда же она была передана Черкесову, который уже задолго до этого объявил, что он будет рецензентом и сам будет выступать по этой дипломной работе. И вот когда Черкесов ее прочел - а прочел он ее за один день, сразу после того, как она ему была передана, - он грозно заявил на кафедре, что не пропустит эту дипломную работу, что он поставит "два", что вообще этот студент, этот Щедровицкий, не получит диплома.

Войшвилло был очень взволнован, вызвал меня тотчас же к себе и сказал:

- Дело плохо, давайте думать что и как.

- А письменный отзыв Черкесова есть?

- Нет, письменного отзыва нет.

- И не будет, - сказал я. - Вы не волнуйтесь - он поставит "отлично".

- Как так? В чем дело? - удивился Войшвилло.

На что я сказал:

- А выхода у него другого нет.

Я не знаю опять-таки, откуда у меня была такая уверенность. Может быть, от посещения этих кафедр... Но я был абсолютно уверен, что я несмотря на все различия в званиях, в положении сумею сломать его на защите.

Но для этого надо было подготовиться. Поэтому я отправился домой к Зиновьеву и попросил его прийти на защиту и выступить. Мы вместе отправились к Грушину. Я дал им экземпляры работы и просил их срочно прочесть с тем, чтобы выступить. Я полагал, что этого вполне достаточно,

Мы обсудили основные принципы декларации по новым исследованиям в логике. Ну и, соответственно, я подготовил текст с защитой принципов моей работы против возможных нападок Черкесова, Алексеева и др. При этом было очень много шуток. Мы впервые сидели втроем на лавочке в университетском маленьком дворике, там, где Герцен и Огарев, и обсуждали со всевозможными хохмами, как вообще будет идти обсуждение, кто и как должен будет выступать. И составили то, что в литературе называется "сценарий". Были заготовлены вопросы, которые должны быть заданы возможным оппонентам, расписаны все члены кафедры, распределены роли: кто кого на себя берет, кто кому будет отвечать, кто и что потом будет говорить... Так примерно час мы играли в эту игру и получали гигантское удовольствие, заготавливая заранее все возможные ходы...

Получилось точно так, как я сказал. Черкесов так и не написал отзыва вплоть до момента защиты. Больше того, даже перед защитой он сказал, что будет очень резко выступать. Но, фактически, он сломался уже на моем выступлении. Что-то по поводу моей работы сказал Войшвилло. И потом выступил Черкесов, который хотя и не хвалил, но говорил в разумных тонах и в конце сказал, что он оценивает работу как отличную.

У меня такое ощущение, что на Войшвилло это произвело какое-то очень странное впечатление, потому что, когда потом он меня поздравлял, он сказал: "А откуда Вы все знали?" И, по-моему, тогда же у него возникла мысль, что у меня есть какая-то мощная поддержка - поддержка, которая, собственно говоря, и заставляет людей в последний момент "поворачиваться" и говорить не то, что они собирались говорить... Но никакой такой поддержки в этой ситуации не было - была только внутренняя уверенность в правоте дела, такой сермяжной что ли, кондовой истинности, с одной стороны, и, с другой - очень большая уверенность в своих собственных силах - уже тогда, в апреле 1953 года, - уверенность в том, что я могу заставить всех этих людей, независимо от их рангов и положений, говорить то, что надо. Причем не потому, что они будут бояться чего-то внешнего, заставляющего их делать какие-то поступки, а потому, что здесь действовал принцип публичности.

Это вообще какой-то великий очень принцип. У Черкесова просто не было и не могло быть аргументов, даже псевдоправдоподобных, которые в тех условиях позволили бы ему оценить ее ниже четверки. Поэтому я исходил из видения ситуации - как она будет разворачиваться, и у меня было совершенно твердое представление, что сломать меня в этой ситуации и заставить вести себя так, чтобы можно было, например, сказать про тройку или двойку, просто нельзя.

Я опять не знаю, на чем это зиждется, и я потом всегда с большим удивлением следил за тем, как ведут себя другие люди в подобных ситуациях. Меня всегда интересовал вопрос: на чем они ломаются? Я даже спрашивал других: что - действительно я такой маниакальный дурак, который не понимает происходящего в силу этой своей маниакальности? (Это точка зрения целого ряда людей. Есть же люди, которые распространяли по Москве всякого рода слухи: что вот такой-то пришел,

поглядел мне в глаза и увидел, что я маньяк, или гипнотизер, или еще что-то такое). Ну действительно - задавал я себе иногда вопрос - почему я так уверен в том, что я могу все это делать?

Я не знаю, но думаю, что на самом деле, все очень просто. И дело здесь в простой, может быть наивной, вере в то, что существует какая-то истина и она видна. Это практический вариант картезианского тезиса о том, что "истина очевидна".

Удачную защиту мы отметили - как это и принято - небольшой пьянкой у меня дома. Это было, наверное, первое испытанное мною ощущение радости от победы в коллективном деле. Хотя борьба-то была в общем смехотворной - мы рассчитывали на более жестокое сопротивление, а по сути дела, ни Зиновьеву, ни Грушину почти не нужно было выступать, и лишь один из них сделал это для проформы, ну просто чтобы отметить. Но все равно радость была настоящей: мы вместе задумали и осуществили дело, привели его к удачному, запланированному концу!

Я специально останавливаюсь на этом, поскольку убежден, что все, что вообще существует, складывается из осознания и осмысления вот таких, часто малозначительных, действий и событий - лишь постепенно, накапливаясь, они приводят к каким-то более значимым действиям и более значимым результатам. Это и есть то, что обычно называют накоплением опыта. Опыта. Это значит всегда - своих собственных действий. И каждый человек, по-видимому, копит опыт удачных действий - по крупицам - и постоянно переносит его вперед, на него опирается и развивает то, что было получено в этих крохах на предыдущих этапах. Постоянное претворение отрефлектированного в новые действия, собственно говоря, и творит траекторию, непрерывную линию жизни каждого человека.

После майских праздников наступил период короткой передышки, а затем пришел момент распределения. Вот здесь я имел возможность еще раз проверить аксиому принципиальности. Совет кафедры после защиты рекомендовал меня в аспирантуру. Черкесов попытался как-то слабо возражать, но не проявил настойчивости. И когда Войшвилло спросил его в лоб, возражает ли он, то Черкесов ответил в косвенной форме: "А кто его возьмет под свое руководство?" И тогда Войшвилло сказал: "Я". И вроде бы как-то на этом все и решилось.

Но когда дальше началось распределение, то выяснилось, что кафедра не оформила этого решения, и поэтому мне начали предлагать работу во Львове и в других городах страны. Но это меня не устраивало, поскольку я решил остаться в Москве и у меня были для этого все основания: семья, жена, работающая в Москве, квартира. И когда комиссия по распределению это поняла, то мне начали предлагать ту или иную аспирантуру, ну, к примеру, место в аспирантуре плехановского института. Это предложение было, по сути дела, искушением, потому что я ведь решил заниматься логикой и только логикой...

Поэтому на каждое - многим другим казавшееся соблазнительным - предложение, я отвечал, что если там предстоят занятия логикой, то я готов. Но таких аспирантур не было, и пошла очень интересная игра: где я сдамся? Но я уже твердо решил для себя, что я в случае чего пойду преподавателем в школу, буду иметь там минимум нагрузки, свободное время. Поэтому я на все предложения отвечал очень спокойно, что я буду работать по-прежнему в школе, где я работал с 1951 года...

Совет уговаривал меня: "Зачем надо было кончать философский факультет?! Чтобы работать преподавателем в школе?!" и т.д. Но позиция моя была очень твердой, и в конце концов, через несколько дней, секретарь комиссии сказала мне: "Направили Вас в аспирантуру университета". Таким образом, я получил право сдавать вступительные экзамены в аспирантуру философского факультета по кафедре логики.

Нас было двое на три места, ибо на нашем курсе было всего два логика: Лев Митрохин и я. Вообще, надо отметить, что примерно 75% нашего курса направлялось в аспирантуру - тогда это было абсолютно массовым явлением, страна нуждалась в дипломированных кадрах преподавателей философии. Тогда направление в аспирантуру было совершенно рядовым явлением, совсем не так, как сейчас. Во всяком случае, для выпускников философского факультета.

Лето я потратил на то, что изучал - очень внимательно и тщательно - логическую классику, одну работу за другой. Это был период очень важной для меня логической подготовки. Я очень много тогда прочел за три месяца запойного чтения. А кроме того, пользуясь тем, что наступило лето, мы начали чаще встречаться втроем - Зиновьев, Грушин и я. Борис Андреевич Грушин очень любил пить пиво, и поэтому мы нередко отправлялись в пивной бар №1 на Пушкинской площади или в пивной бар на Кировской улице - тогда вообще в Москве было много пивных баров, можно было с удовольствием где-то посидеть. Я даже начал пить пиво для компании.

И вот тогда впервые, летом 1953 года, сначала очень робко, мы начали обсуждать возможные программы дальнейшей работы в области логики. К концу лета наши встречи стали уже систематическими. Постепенно сложилась очень тесная компания, где, как мне казалось, все получали удовольствие от общения друг с другом.

В сентябре я пошел сдавать вступительные экзамены. И на первом экзамене, а это была логика, получил "посредственно". Один из вопросов был "логика Гегеля", второй - "диалектическая логика Маркса и Ленина" и третий вопрос - по категориям Аристотеля. Мне казалось, что все три вопроса я знал лучше, чем на "отлично".

Принимали у меня экзамен Черкесов и Попов, которые после каждого моего ответа - а я исписал очень много страниц, с цитатами - говорили "Не точно" и задавали какие-то странные вопросы. Но даже когда я уходил после экзамена, я никак не мог предполагать, что я получу тройку. Тем более, что остальные кандидаты - пять или шесть человек - были из педагогических вузов, и они, с нашей точки зрения, просто в логике не смыслили ничего. Например, на консультации по логике, которую проводил Никитин, одна из них, ныне доктор философских наук по логике, спросила:

- А вот тут написано "бекон" - это что такое? Про что надо рассказывать?

На что Никитин с некоторым оттенком снобизма объяснял ей:

- Уважаемая товарищ, Бэкон, это не "что", а "кто". Я, правда, не знаю, про какого Бэкона вы спрашиваете, про Роджера или Френсиса, но могу вам рассказать и про одного, и про другого.

- Ну, на всякий случай и про того, и про другого расскажите.

Так вот, она получила на экзамене "хорошо".

И я, получив "посредственно", был весьма удивлен.

Правда, надо отдать должное Виталию Ивановичу Черкесову. Когда я подошел к нему и спросил:

- Виталий Иванович, как же так? Я сдал все курсы по логике, и все на "отлично". Где же Вы допустили промашку? И чего, собственно, я не знал?

Он ответил:

- Неужто Вы настолько наивны, что можете думать, что мы допустим Вас в аспирантуру?

Я подал апелляцию. Ее рассматривали в ректорате, и обязали Совет кафедры еще раз принять у меня экзамен. Для этого была собрана вся кафедра, включая Войшвилло, Асмуса, Никитина, Алексеева, Черкесова, и экзамен продолжался около трех часов - сам ответ, а не подготовка. Носил он характер уже прямого диспута, поскольку один из вопросов - представления о понятии у Аристотеля и Канта - касался непосредственно моей дипломной работы, а я эту тему очень внимательно прорабатывал в подготовительных материалах к дипломной работе. В особо острых местах лаборант кафедры ходила в "Кафе" (так тогда назывался "кабинет философии") и приносила соответствующие тексты, которые рассматривались внимательнейшим образом. Войшвилло и Асмус определили, что мне может быть поставлена хорошая оценка, а остальные члены кафедры - что я должен получить "посредственно". Этот расклад очень точно характеризовал степень коррумпированности самой кафедры.

Но к тому времени я уже узнал, что Евгений Казимирович Войшвилло направлен на работу в Венгрию и поэтому взять меня в аспирантуру он не может, о чем он сделал соответствующее заявление на кафедре. И, по сути дела, эта его отправка и решила мою судьбу, потому что все остальные преподаватели, включая и Асмуса, у которого я работал в его спецсеминарах, брать меня в аспирантуру отказывались.

Таким образом, я снова при повторной сдаче получил "посредственно" и, несмотря на то что я имел больше очков, чем другие, претендовавшие на это место, - а их было всего три человека, считая со мной, на три места в очной аспирантуре, поскольку остальные получили двойки по каким-то предметам, - я не был пропущен в силу формального правила, по которому человек, получивший "посредственно" по специализации, не может быть взят в очную аспирантуру. И одно место осталось вакантным. На два других поступили Митрохин и вот та женщина, о которой я рассказывал. Она была аспирантка у Яновской. Ее еще Петр (сын Г.П.) застал в пединституте - она была там профессором по логике и читала им курс формальной логики на первом курсе и курс диалектической логики на четвертом.

Так рухнула моя надежда "прокантоваться" три года в аспирантуре и за это время подучиться и поработать на факультете. Но по зрелом размышлении я решил, что не проиграл, а, наоборот, выиграл, поскольку получил свободу распоряжения собою, и с совершенно легким сердцем отправился в школу. В те две школы, где я тогда работал, -  $\pm 9$  и  $\pm 582$ , на Якиманке. И с большим удовольствием преподавал там два раза в неделю по шесть часов, получая свои 375 рублей в старой валюте, а все остальное время принадлежало мне. Я мог работать в Ленинской библиотеке, встречаться с друзьями и вообще свободно действовать.

На этом, собственно, и закончились мои студенческие годы - время учебы в университете, но не

время моей жизни в университете. Начался очень трудный и тоже очень важный в становлении Московского методологического кружка 1953-1954 учебный год.

Одной из его основных вех было Московское совещание по логике, которое началось в декабре 1953 года и закончилось в марте 1954. Это было проходившее раз в две недели как бы расширенное заседание Ученого совета факультета, на котором развертывалась дискуссия по проблемам логики - одна из первых в той серии научных дискуссий и обсуждений, на которых вырабатывались новые ориентиры в послесталинский период.

Сразу же после смерти Сталина - буквально с лета, т.е. через два-три месяца - начались очень сложные политические и социальные пертурбации: арест и расстрел Бери, затем очень сложные события с Маленковым и его группой - Маленков тогда занимал пост председателя Совета министров. И одновременно началось движение в кругах научной интеллигенции - сначала очень осторожное, как бы нащупывающее новые формы жизни. И, как это и должно было быть, впереди шел университет, и в особенности - философский факультет, ибо философский факультет даже в ту эпоху все равно выполнял свою функцию и был центром инновационных процессов, центром всевозможных нововведений. Именно те, кто кончал философский факультет Московского университета в 1951-1955 годах, кто начал свою деятельность на этом переходном рубеже между сталинским и послесталинскими периодами, должны были по самой ситуации вырабатывать какие-то новые ценностные ориентации, новые цели и прокладывать новые пути. И Московское совещание по проблемам логики, собравшее всех московских логиков и тех, кто приезжал из других городов, ближних и более далеких, специально на это совещание, было одним из таких мероприятий в ряду других, где начали формироваться какие-то новые ценности, новые ориентиры, ставиться новые цели и задачи в рамках марксистской философии.

Другой вехой, тоже очень важной в развитии всего этого круга идей, было совещание, проходившее в марте-мае, может быть, даже и в июне по теме "Естествознание и философия" в рамках кафедры истории зарубежной философии Теодора Ильича Ойзермана. Заявившее себя на этом совещании направление получило название "движение гносеологов", обсуждалось в нашей печати, в том числе партийной, и было осуждено. И после него было много очень важных событий - в том числе и кадровых решений в разных направлениях.

Это был 1953-1954 учебный год, когда в рамках философского факультета МГУ сформировались два направления: неогегельянское, во главе которого стоял Ильенков, и методологическое, или логико-методологическое, символом которого был Зиновьев. И весь тот учебный год я, по сути дела, непрерывно работал на факультете с молодежью. Там, с одной стороны, функционировал семинар Ильенкова, где работали Лекторский, Глаголева, Захарова, потом Галина Давыдова и др. А с другой - вокруг нас троих (Зиновьева, Грушина и меня) существовало объединение логиков, куда подключались студенты самых разных курсов, от пятого до первого.

И в ходе нашего участия во всем этом процессе к весенним обсуждениям темы "Естествознание и философия" наша группа окончательно оформилась как группа уже из четырех человек. Но эти два совещания надо рассматривать вместе, поскольку они образовывали единый процесс и то, что намечалось на совещании по логике в декабре-марте, затем проявило себя и оформилось в дискуссиях по теме "Естествознание и философия". В этом плане очень характерно, скажем, что

Мамардашвили, который тихо и молча просидел как, так сказать, отдельный индивид на совещании по логике - и, как он сам потом рассказывал, все время взвешивал, приемлемы или не приемлемы для него позиции, которые мы втроем выдвигали, - он окончательно определился к этим апрельским событиям и вошел в наш кружок, став его четвертым членом и тем самым, так сказать, завершив процесс конституирования Московского логического кружка.

Такова в общих чертах "канва", но ее нужно проговаривать еще раз в деталях, анализируя, что же, собственно говоря, там было или что мы тогда обсуждали и какого рода программы мы намечали.

Совещание по логике было обусловлено прежде всего притоком многих интеллектуальных сил в область логики. Вообще, на том этапе - а он ведь был, по сути дела, продолжением всего того, что формировалось до этого - именно сфера логики была самой живой, стягивавшей на себя и вокруг себя основные прошлые ориентации людей и основные интересы. Там всей предшествующей историей формировалась очень напряженная ситуация, и поле логики было тем первым плацдармом, на котором мог быть реально дан бой старым представлениям.

Для того чтобы представить себе сложившуюся ситуацию, нужно прежде всего вспомнить целый ряд характерных эпизодов, определивших предшествующий период развития логики. Мы этот круг вопросов обсуждали в 1975-1976 годах очень подробно, с анализом всей истории развития советской логики. И есть такой гигантский том этих обсуждений, страниц на восемьсот машинописи, с обсуждением всей истории подходов... Оставить комментарий

© Copyright Щедровицкий Георгий Петрович (smac\_edu@permonline.ru)